ц. 30 к.

12-30

Я БИБЛИОТЕКА ГОСИЗДАТА

СЕРИЯ ШКОЛЬНИКА И ПИОНЕРА

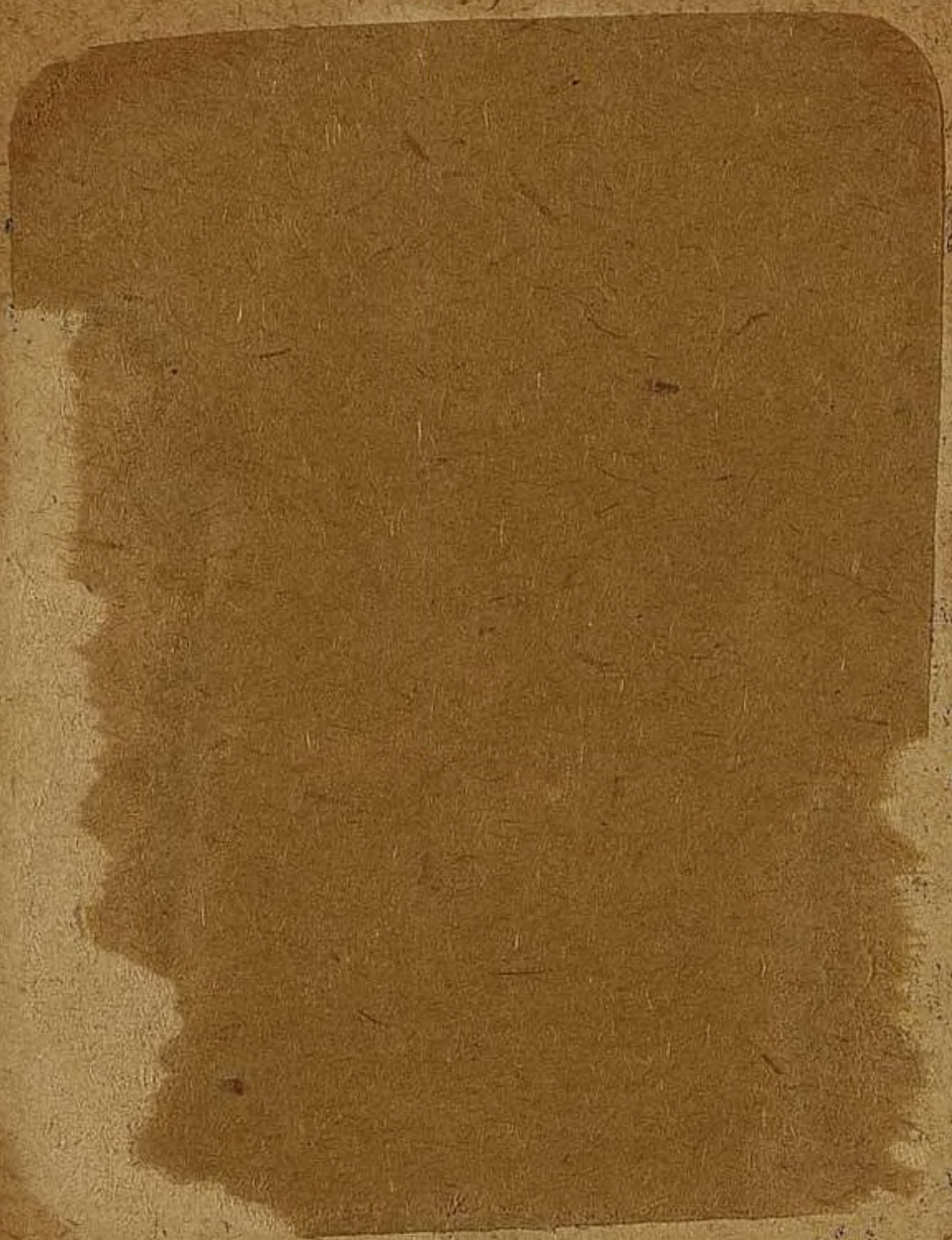
И. ГРУЗДЕВ

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО

ПО ЕГО РАССКАЗАМ

1929

№ 94—96



ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ГОСИЗДАТА
СЕРИЯ ШКОЛЬНИКА И ПИОНЕРА

Г-901

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО

ПО ЕГО РАССКАЗАМ

СОСТАВИЛ ИЛЬЯ ГРУЗДЕВ

СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
№ [redacted]
Издательство ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

86 (2)92

Отпечатано в типографии Госиздата
„Красный пролетарий", Москва,
Краснопролетарская ул. д. 16,
в количестве 50 000 экз.
Главлит № А—43378
Гиз Д—42 № 32372
Зак. № 9574
6 п. л.

3819 1957-58 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КН. Г.
ДЕТГИЗА

675954 Кх-рес

Российская государственная
детская библиотека

ОТЕЦ

Нижний Новгород—большой торговый город на Волге, ощетинившийся сотнями острых мачт.

В 1863 году в этот город пришел пешком из Сибири юноша шестнадцати лет. Звали его Максимом Пешковым. Жизнь его сложилась тяжко.

Отец так жестоко с ним обращался, что с малых лет Максим стал бегать от него. Убегал он пять раз, хотя каждый раз неудачно. Один раз, впрочем, убежал далеко, и отец искал его по лесу с собаками, как зайца. Другой раз отец, поймав его, стал так бить, что соседи отняли мальчика и спрятали его у себя. После смерти отца его взял к себе дядя для обучения столярному ремеслу, но, видно, и там жилось не сладко, потому что Максим убежал и от дяди. Чтобы прокормиться, он стал водить слепых по ярмаркам, а придя в Нижний, нанялся к подрядчику-столяру.

Другой бы от всех этих скитаний озлобился, но не таким был Максим. Вся улица, на которой он работал, знала славного столяра. Умел он и петь и плясать хорошо, и развеселить мог товарищей, задерганных работой и нуждой.

Бок-о-бок с мастерской столяра помещалось красильное заведение Василия Каширина. Максим Пешков познакомился с дочерью Каширина—Вар-

варой Васильевной. Молодые люди понравились и полюбились друг другу. Но о том, чтобы жениться, Максиму и думать было нельзя. Старик Каширин сам из бурлаков вышел, но разбогатевши, кичиться стал. А после того, как в цехе мастеров старшиной сделался, да шляпу с позументом и мундир получил, так и совсем загордился. «Выдам,—говорит,—дочь за дворянина, за барина».

Но Максим был человеком упорным. Он перемахнул через забор к красильщику, да и явился прямо к матери Варвары Васильевны—Акулине Ивановне Кашириной, явился как был в мастерской, босой, без шапки, на длинных волосах ремешок. Поклонился ей в ноги и просит помочь в трудном деле. Акулина Ивановна так и обомлела,—уж очень сердит и страшен был красильщик,—но видит: не отступится от своего Максим, и будет беда. Тогда и уговорились, что поможет она им уехать из дому венчаться тайком. Да узнал об этом мастер один, не любил он Максима,—и не успели еще сладить дело, донес он обо всем Каширину. Взревел старик, мечется по двору, как огнем охвачен, созвал сыновей, да мастера этого, да кучера, взяли ружье, кистень да гирю на ремешке и—в погоню за Варварой и Максимом. Но догадалась Акулина Ивановна, подрезала гужи у оглобель, они дорогой и лопнули. Задержалась погоня. Нашли все-таки бежавших, пошли на Максима с боем, а у него сила была редкая, раскидал всех, да и говорит красильщику:

— Я человек смирный, а что взял, то никому у меня не отнять, и больше мне ничего от тебя не надо.

Старик отступился, а после и вовсе примирился. Да и то сказать: хорош был Максим, добрый и разумный человек. А когда родился у Пешковых сын Алексей—то и жить стали все вместе.

Но не взлюбили Максима сыновья красильщика—братья Каширины, Яков и Михайло. Жадные были они до денег, и казалось им, что сестра их Варвара потребует себе часть наследства, и будет им убыток. А тут еще Максим подшутил над ними. Был морозный год; стали заходить волки с поля, забоялись люди, а Максим сам к волкам идет, возьмет ружье, лыжи наденет, да ночью в поле, глядишь—одного притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы выщелушит, вставит стеклянные глаза,—хорошо выходило! Вот пошел раз Михайло в сени, вдруг—бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет—волк! Все схватили, кто что успел, бросились в сени с огнем,—глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он хоть бы что! Пригляделись—одна шкура, да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! Смеется Максим: больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову!

Шутки—шутками, а отдалось все это ему чуть не гибелью: Михайло обидчивый был, злопамятный, и подговорил брата Якова извести Максима. Шли они в начале зимы из гостей и заманили Максима на пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются; заманили да и

столкнули его в прорубь. Он вынырнул, схватился руками за край, а они давай его бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его—был он трезвый, а они—пьяные, он как-то вытянулся подо льдом, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали в голову ему ледяшки и ушли—дескать, сам потонет! А он вылез, да бегом домой. Узнала и полиция, да только ничего ей Максим не сказал, скрыл,—сам, говорит, забрел на пруд, да и свернулся в прорубь. А старик Каширин пришел к Максиму и говорит:

— Ну, спасибо тебе, другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в дом привела!

Прислал и сыновей прощенья просить, Максим и говорит им:

— Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня, какой я работник без рук-то?

А потом к Акулине Ивановне:

— Эх, мама,—говорит,—едем с нами в другие города, скушновато здесь!

И вышло скоро Пешковым ехать в Астрахань. Готовились там к празднику, и Максиму, как хорошему мастеру, заказали строить триумфальные ворота. Астрахань—пестрый город. Живут там и татары, и армяне, и персы, живут плохо и грязно. А болезни частыми гостями приходят с Востока.

Алеша, которому тогда было пять лет, заболел холерой. Во время болезни отец весело возился с ним, а потом сам заболел и умер. А незадолго перед тем он катал Алешу на лодке с парусом.

Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал Алешу коленями и крикнул:

— Ничего, не бойся, Лук!

В ДОМЕ ДЕДА

После смерти отца Алеши, приехала в Астрахань бабушка, Акулина Ивановна, и увезла Алешу и его мать на родину, в Нижний. В маленькой каюте парохода, взобравшись на узел и сундуки, смотрел Алеша в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня. За мокрым стеклом бесконечно лилась мутная, пенная вода. Когда она, вскидываясь, лизала стекло, Алеша каждый раз спрыгивал на пол.

— Не бойся,—говорила бабушка и, легко приподняв его мягкими руками, снова ставила на узлы.

Алеша знал, что бояться нечего, но не мог удержаться, так неожиданно вода кидалась на него.

Бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом, была вся какая-то черная, мягкая и удивительно интересная. Говорила она ласково, весело и складно, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка.

На палубе бабушка совсем расхлопоталась:

— Ты гляди, как хорошо-то!—говорила она, переходя от борта к борту и радуясь, словно сама была не больше Алеши.

Было в самом деле хорошо. Погода была славная, небо ясно, берега точно шиты зеленым шелком, а по берегам—города и села, как пряничные, издали.

Хороши были сказки бабушкины, что рассказывала она Алеше во время долгого путешествия.

Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней.

Алеша слушает и просит:

— Еще!

— А еще вот как было,—рассказывает бабушка,—сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, бабушка хватается за нее руками, качает ее на весу, смешно морщит лицо, словно ей самой больно. Вокруг стоят матросы—бородатые ласковые мужики—слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи еще чего!

Потом говорят:

— Айда ужинать с нами!

Ужинать с ними было очень весело. Сами они пили водку, Алешу же угощали арбузами и дынями.

Когда приехали в Нижний, к борту парохода подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном, длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками. Это был дедушка. Он быстро вертелся, поворачиваясь то к тому, то к другому, и не просто говорил, а кричал, взвизгивая, и прибавляя:

— Эх, вы-и...

И когда Алеша слышал этот долгий звук «и-и», ему становилось как-то зябко и скучно.

Позади деда молча стояли дядья Михаил и Яков.

У обоих были мальчишки-сыновья и обоих сыновей звали Сашами.

Бабушка толкала Алешу вперед, чтобы со всеми здоровался да кланялся бы. А он и вовсе растерялся.

Сошли с парохода и пошли толпой по улице, мощеной крупным булыжником.

И взрослые, и дети не понравились Алеше. Взрослые были какие-то серые и скучные, дети—тихие и пугливые.

Зато двор дома, где жил дед, был удивительный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, всюду стояли чаны с густой разноцветной водой. В этой воде тоже мокли тряпки. Тут же стояла печь, в ней жарко горели дрова и что-то кипело, булькало, а человек с высокой, лысой головой и в темных очках громко говорил странные слова:

— Сандал—фуксин—купорос...

То была красильня. В заведение деда приносились материи и платья, их распарывали по швам и бросали в кипящие котлы. Работали—дед, дядья Михайло и Яков и два работника. Один из них—Григорий Иванович—плешивый, бородатый, в темных очках, с большими ушами. Когда он сидел около котлов или мешал кипящую краску среди белых клубов пара, он похож был на доброго колдуна. Другим работником был молодой, широкоплечий парень Иван, по прозвищу Цыганок, черный, как большой жук, весельчак и плясун.

По субботам, когда дед уходил в церковь, в кухне начиналась неописуемо-забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезал из бумаги

сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, визжал:

— За архиереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

— Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

— Дьячок из кабака к вечерне идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинками бойких глаз. Но особенно хорошо бывало по праздникам, когда на кухню приходил дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с закуской; волчком вертелся Цыганок, тихо, боком, приходил мастер Григорий, сверкая темными стеклами очков.

Дядя Яков настраивал гитару и играл какую-то заунывную песню. Торопливым ручьем она бежала откуда-то издали и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Бабушка слушала, вздыхая. Неподвижно сидел Григорий Иванович, опустив длинную бороду и поблескивая очками. Алеша сидел зачарованный, а когда песня была очень жалобной, буйно плакал в невыразимой тоске. По-особому слушал Саша Михайлов: он весь вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он даже падал со стула, тыкаясь руками в пол, и если это случалось, он так и сидел

на полу, вытаращив застывшие глаза. А Цыганок, слушая музыку, запускал пальцы в свои черные космы и иногда неожиданно и жалобно восклицал:

— Эх, кабы голос мне,—пел бы я как, господи!

Но, бывало, дядя Яков вдруг оборвет свою музыку, ударит по струнам и закричит:

— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

— Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкафу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижем, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

— Режь поперек!—кричал дядя Яков, притоптывая.

Цыганок шел поперек, а музыкант пронзительно свистел и выкрикивал:

Эх ма! кабы не было мне жалко лаптей,
убежал бы от жены и от детей!

Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; даже бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то.

ИСТОРИЯ С СИНЕЙ СКАТЕРТЬЮ

Вечером, от чая до ужина, дядья и работники сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. В это время дня Михаил и Яков, «неумное племя», как их называла бабушка, всегда устраивали безобидному и смирному мастеру Григорию что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием, или положат ему, полуслепому, разноцветные куски материи,—он сошьет их в одну «штуку», а дед-хозяин ругает его за это.

Однажды, когда Григорий спал после обеда, ему накрасили лицо красным, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Мастер все сносил молча, только крякал тихонько, да когда ему было больно, на его большом лице появлялась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе. Бабушка сердилась на сыновей, грозила им кулаком и кричала:

— Бесстыжие рожи, злыдни!

Дядья не унимались. Однажды дядя Михаил велел своему племяннику, Саше Яковову, накалить на огне наперсток мастера Григория. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в

этот момент пришел дедушка, сел за работу, и сам сунул палец в каленый наперсток.

Потом, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгая, закричал:

— Чье дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него: мастер невозмутимо шил; тени прыгали на его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там.

— Это Сашка Яковов устроил,—вдруг сказал дядя Михаил.

— Врешь,—крикнул Яков, выскочив из-за печи.

А где-то в углу Саша Яковов плакал и кричал:

— Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дело грозило строгим наказанием. Все говорили—виноват дядя Михаил. Алеша уже знал, что дед каждую субботу на кухне сечет детей, провинившихся за неделю. За чаем он спросил—будут ли дядю Михаила сечь в субботу? Все засмеялись, а дядя Михаил ударил по столу кулаком и обещал проучить малыша за такую обиду. И подговорил он опять Сашу Яковова. А Саше и самому очень хотелось из беды вылезти, да на другого отвести дедовский гнев. И вышел случай. Алешу очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей—«кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым—«бордо». Просто, а—непонятно. Захотелось Алеше самому окрасить что-нибудь, а Саша Яковов тут-как-тут. Ласково посоветовал он

ему взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.

— Белое всего легче красится, уж я знаю!—сказал он очень серьезно.

Алеша вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, и когда опустил край ее в чан с «кубовой», на него налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул Саше, следившему из сеней за Алешиной работой.

— Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая черной лохматой головою, сказал Алеше:

— Ну, и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая Алешу:

— Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то. Уж я спрячу дело; авось обойдется как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

— Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

— Я ему пятак дам,—сказала бабушка, уводя Алешу в дом.

Как секут детей, Алеша никогда не видел, и дед, зло подмигивая глазом и тряся рыжей бородкой, уже не раз обещал ему показать это.

В субботу привели его на кухню—показать, как секут. Было темно и тихо. На широкой скамье сидел сердитый, непохожий на себя Цыганок; дед,

стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывал один с другим и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

— Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов сидел на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

— Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу. Их тоже привели смотреть на порку.

— Высеку—прощу,—сказал дед, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак.—Ну-ка, снимай штаны-то!..

Саша встал, расстегнул штаны, спустил до колен и, поддерживая их руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у Алеши тоже дрожали ноги.

Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье подмышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.

— Лексей,—позвал дед,—иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.

— Врешь,—сказал дед,—это не больно! А вот этак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а Саша протяжно завыл.

— Не сладко?—спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку.—Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у Алеши все поднималось вместе с нею; падала рука—и он весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

— Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтырь читая, дед говорил:

— Донос—не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Как только бабушка услышала слово «скатерть», она кинулась к Алексею и схватила его на руки, закричав:

— Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в запертую дверь, призывая Алешину мать:

— Варя! Варвара!

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил Алексея и понес к лавке. Алеша бился в руках у деда, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Дед орал, тискал его и, наконец, бросил на лавку, разбив ему лицо.

— Привязывай!—кричал он,—убью!

...Дед засек Алешу до потери сознания, и несколько дней лежал тот вверх спиной на широкой жаркой постели. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дед и сел на кровать.

Российская государственная детская библиотека 675954

— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!..

Алеше хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Дед казался еще более рыжим, чем раньше: голова его беспокойно качалась; глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, перед носом Алеши.

— Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Потом заговорил, тихо поглаживая голову внука маленькой жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых птичьих ногтях:

— Я тебя тогда перетово, брат... Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел,—в зачет пойдет! Эх! Ты думаешь—меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь! Меня так обижали, что поди-ка, сам господь бог глядел—плакал!

И привалившись к Алеше сухим, складным телом, он стал рассказывать ему о детских своих днях, и о том, как в молодости бурлаком ходил.

Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил Алеше в лицо:

— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа—по воде, а я—по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова как чугун кипит, а ты, согнувшись в три

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 17
дома детской книги
ГИЗА

погибели—косточки скрипят—идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится,—эх-ма, Олёша, помаливай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься мордой в землю—и тому рад; стало быть, вся сила начисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирска до Рыбинска, от Саратова досюдова, да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки,—в этом многие тысячи верст!

Говорил он—и словно рос в глазах Алеши, рос быстро, как облако, превращаясь из маленького сухого старичка в человека силы сказочной—один ведет против реки огромную серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

— Ну, зато, Олёша, на привале, на отдыхе, летним вечером в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой, поразложим бывало-че костры—кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель,—аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет,—так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе—как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но Алеша просил:

— Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

— Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и когда ушел, то Алеша знал, что дед не злой и не страшный. Но до слез трудно было вспомнить, что это он так жестоко избил его.

Кубарем вкатился Цыганок, широкогрудый, с огромной кудрявой головой. Блестели волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов.

— Ты глянь-ка,—сказал он, приподняв рукав, показывая Алеше голую руку до локтя в красных рубцах,—вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу—запорет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал—переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат, бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало,—видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела.

— Я тебя очень люблю,—сказал Алеша.

— Так ведь и я тебя тоже люблю,—ответил он просто,—за то и боль принял: за любовь! Али я стал бы за другого за кого!? Наплевать мне...

Потом он стал тихонько учить Алешу, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то,—чуешь? Вдвойне больней, когда тело сжимаешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было,—киселем лежи! И не надувайся, дыши во-всю, кричи благим матом,—ты это помни, это хорошо!

Алеша спросил:

— Разве еще сечь будут?

— А как же?—серьезно сказал Цыганок.—Конешно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

— За что?

— Строптив очень, поперек слова норовишь сказать...

И снова озабоченно стал учить:

— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу,—ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет,—ударит, да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять,—так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей!

— Маленьких всегда бьют?

— Всегда,—спокойно ответил Цыганок, потом ласково обхватил Алешу и приподнял на руках.— Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Пошли бы мы с тобою... Эх! мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый.

И вдруг, прижав крепко Алешу к себе, почти застонал:

— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожег бы я народ...

Пришел раз и мастер Григорий. Алеша спросил, за что дядья его обижают.

— За что? А они, поди, и сами не знают. Дядя Яков-то жену на смерть забил, замучил, а дядя Михаил и сейчас жену бьет, дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Может и за то бьет, что лучше она его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, и принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего сживали. Она все скажет: она неправду не любит. Она в роде святой. Ты держись за нее крепко. А людей не бойся!—сказал он, помолчав.

— Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя набросится, и ей тоже—отстанет. Понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь!

Алеша смотрел на мастера, и казалось ему, что тот из-под очков всё видит насквозь.

ПОЖАР

Однажды вечером, когда Алеша уже лежал в кровати, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом крикнул бабушке:

— Ну, мать, посетил нас господь,—горим!

— Да что ты!—крикнула бабушка, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

Слышно было, как бабушка строгим, крепким голосом командовала, а дед тихонько выл:

— И-и-ы...

Алеша выбежал в кухню; окно на двор сверкало точно золотое; по полу текли, скользили желтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и тоже выл со страха.

— Поворачивайся, ты!—крикнула бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красные широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями.

Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, Алеша выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрой огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки,—накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскричав:

— Купорос, дураки! Взорвет купорос...

— Григорий, держи ее!—выл дедушка.—Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла.

— Отец, лошадь выведи!—хрипя, кашляя, кричала она.—Снимите с плеч-то,—горю, али не видно!..

Григорий сорвал с ее плеч тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бегал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

— Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал,—наше все до тла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено—в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружней!

Она была так же интересна, как и пожар; освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дед выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

— Мать, держи!

Бабушка бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом; конь жалобно заржал и потянулся к ней, косясь на пламя.

— А ты не бойся!—басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод.—Али я тебя оставлю в страхе в этом? Ох, ты, мышонок...

«Мышонок», втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала деду:

— Василий Васильевич, Лексея нет...

Услышав это, Алеша быстро спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и его.

Крыша мастерской уже провалилась; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы с красками, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; Алеша выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке:

— Уйди!—крикнула она.—Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя:

— Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично-красиво. Алеша онемел от восторга. Бабушка толкнула его на крыльцо:

— Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать ее в этот час. Алеша ушел в кухню, снова прильнул к окну, но за темной кучей людей уже не было видно огня,—только шлемы сверкали среди зимних черных шапок.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

— Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось...

Села рядом и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошел, остановился у порога и спросил:

— Мать?

— Ой?

— Обожглась?

— Ничего.

Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе, зажег и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.

— Умылся бы,—сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

— Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...

Бабушка усмехнулась и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на Алешу, тихо спросил:

— Весь пожар видел, сначала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх, вы-и...

Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил:

— Боялся ты?

— Нет.

— И нечего бояться...

Дед ушел, а Алеша забился на печь и задремал. Проснулся он от пьяных криков дяди Михаила. Тот проспал весь пожар, а теперь вылез на кухню, сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу.

На печи стало жарко. Алеша слез, но, когда поровнялся с дядей, тот поймал его за ногу, дернул, и Алеша упал, ударившись затылком.

— Дурак,—сказал Алеша.

А тот вскочил на ноги, снова схватил Алешу и взревел, размахнувшись им:

— Расшибу об печку...

Очнулся Алеша в кровати. Было жарко, душил густой тяжелый запах; в голове или сердце росла какая-то опухоль: обида на все, что творилось в этом доме...

Дверь очень медленно открылась, в комнату вошла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку лампадки, тихо, по-детски жалобно, сказала:

— Рученьки мои, рученьки больно...

УЧЕНЫЙ СКВОРЕЦ

После пожара дед купил новый дом с садом, который опускался в овраг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка.

— Розог-то!—сказал дед, весело подмигнув Алеше.—Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся...

И однажды, больной, сидя на постели, без рубахи, кашляя и отирая длинным полотенцем пот, дед достал откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал Алешу:

— Ну-ка ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это—аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это—что?

— Буки.

— Попал. Это?

— Веди.

— Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть,—это что?

— Добро.

— Попал! Это?

— Глаголь.

— Верно! А это?

— Аз.

Вступилась бабушка.

— Лежал бы ты, отец, смирно...

— Стой, молчи! Валяй, Лексей!

Он обнял Алешу за шею горячей, влажной рукою и через его плечо тыкал пальцем в буквы, держа книжку у самого носа Алеши. От деда жарко пахло уксусом, потом и печеным луком. Алеша почти задыхался, а дед яростно хрипел и кричал в ухо Алеши:

— Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь»—на сутулого Григория, «я»—на бабушку с Алешей, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Дед долго гонял Алешу по всему алфавиту, заразив его своей горячей яростью. Алеша тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило деда; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

— Это вы кричите...

Алеше было весело смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на ученье и негромко смеялась, говоря:

— Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял Алеше дружески:

— Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головой:

— А память у него лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец, он шутливо столкнул Алешу с кровати.

— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

Вскоре Алеша уже читал по складам Псалтирь. Каждый день после вечернего чая он должен был прочитать псалом. Читал он так:

— Буки, люди, аз:—бла; живете, иже:—же. Блаже. Блаже, наш:—блажен.

Книга была скучная. Деду было тоже скучно, но он каждый вечер, молясь перед сном, читал из нее наизусть.

— А скушно, поди-ка, богу слушать-то тебя, отец,—сказала однажды бабушка:—всегда ты твердишь одно да все то же.

Дед побагровел от ярости, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке:—Вон!..

По утрам дед тоже долго и скучно молился. Перед тем как встать в угол к образам, он долго умывался; потом, аккуратно одетый, причесывал рыжие волосы, оправлял бородку, и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную ко-

сынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, внушительно говорил:

— Во имя отца и сына и святого духа!

Казалось, что после этих слов даже мухи в комнате жужжали осторожнее. Дед стоял, вздернув голову; брови у него приподняты, ощетинились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твердо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно:

«Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся...» И нешибко бил себя в грудь кулаком.

Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом,—есть хочется! Бабушка и Алеша ждали у накрытого стола, когда дед кончит. А тот все молится, качается и взвизгивает:

«Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен!»

Алеша знал на память все молитвы и следил: не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово? Ошибки деда возбуждали у него злорадное чувство.

Кончив молиться, дед говорил Алеше и бабушке:

— Здравствуйте!

Те кланялись, и тогда все садились за стол. Тут Алеша говорил деду:

— А ты сегодня «довлеет» пропустил!

— Врешь?—беспокойно и недоверчиво спрашивал он.

— Уж пропустил! Надо: «но та вера моя да довлеет вместо всех», а ты и не сказал «довлеет».

— На-ка, вот!—восклицал дед, виновато моргая глазами.

И после, со зла придравшись к чему-нибудь, сек Алешу за такие указания. Но Алеша подстерегал его снова на ошибках, и тогда все начиналось сначала.

...Однажды бабушка отняла у кота пойманного им скворца, обрезала сломаное крыло, а на место откусанной ноги ловко пристроила деревяжку и, вылечив птицу, стала ее учить.

Стоит перед клеткой и твердит:

— Ну, проси: скворушке—кашки!

Скворец, черный как уголь, скосив на нее круглый живой глаз юмориста, стучит деревяжкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь не дается ему.

— Да ты не балуй!—серьезно говорит ему бабушка.—Ты говори: скворушке—кашки!

Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки,—старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит:

— Я тебя, шельму, знаю; притворяшка ты,—все можешь, все умеешь!

И, ведь, выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на—Дра-астуй...

А после скворец сам уж выучился дразнить

деда. Дед встанет перед образом, внятно произнося слова молитв, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает:

— Ть-ю, тью, тью-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тью-уу!

Деду показалось обидным это: однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо:

— Убери его, дьявола, убью!

Так и прогнали скворца.

КОЛОДЕЗЬ

Товарищей у Алеши не заводилось. Его возмущали жестокие забавы соседских ребятишек. Он не мог терпеть, когда стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз или издевались над пьяными нищими, и вмешивался в дело, разгоняя ребят. Те отвечали ему враждой и не упускали случая напасть на него кучей. Кроме того Алеше не нравилось, когда его называли Каширины, по фамилии деда; ребята это подметили и как только Алеша появлялся на улице, они кричали:

— Кащея Каширина внучонок вышел, глядите!

— Валяй его!

И начиналась драка.

Алеша был силен и ловок, ему весело было отбиваться одному против многих, но, в конце концов, улица всегда била его, и домой он приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли.

Бабушка встречала его испуганно, соболезнуя:

— Что, редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а? Как я тебя начну с руки на руку...

Дед, видя синяки, только крякал и мычал:

— Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь!

Но и в саду было много интересного. Через щели забора виден был Алеше соседский двор. По двору иногда прохаживался высокий старик, бритый, с белыми усами; волосы усов торчали, как иголки. Иногда из конюшни выводили к нему серую длинноголовую лошадь; узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Старик звонко шлепал ее ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню. Алеше казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может, заколдован.

Почти каждый день на дворе играли трое мальчиков: одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что Алеша различал их только по росту.

Алеше нравилось, что они так хорошо, весело и дружно играли в незнакомые игры, нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал,—они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колена, они вытирали пальцы его и штаны листь-

ями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил:

— Вот ус неуклюзый!..

Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы.

Однажды Алеша влез на дерево и свистнул им,— они остановились там, где застал их свист, затем сошлись не торопясь и, поглядывая на Алешу, стали о чем-то тихонько совещаться. Алеша подумал, что они станут швырять в него камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху, и снова влез на дерево. Но мальчики уже играли далеко в углу двора и, видимо, забыли об Алеше. Ему стало грустно, а начинать драться первому не хотелось.

Много раз он сидел на дереве, ожидая, что вот они позовут его играть с ними,—а они не звали. Иногда им кричали в форточку:

— Дети,—марш домой!

И они шли не торопясь и покорно, точно гуси.

Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он встал в угол за амбаром и стоял, честно закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться.

Старший быстро и ловко залез в широкие пошевни, под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца, не видя, куда девать себя.

— Раз,—кричал старший,—два...

Маленький спрыгнул на сруб колодца, схватился

за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла.

Алеша обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но тотчас же понял, что́ может случиться, и соскочил с дерева прямо во двор к ним, крича:

— Упал в колодезь!..

Средний мальчик подбежал к срубу в одно время с Алешей, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но Алеша уже успел перенять веревку, а тут подбежал старший; помогая Алеше вытягивать бадью, он сказал:

— Тихонько, пожалуйста!..

Маленького быстро вытянули, он тоже был испуган; с пальцев правой руки его капала кровь, на щеке—большая ссадина, был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул:

— Ка-ак я па-да-ал...

— Ты с ума сосол, вот сто,—сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил:

— Идем, все равно, не скроешь...

— Вас будут бить?—спросил Алеша.

Мальчик кивнул головой, потом сказал, протянув Алеше руку:

— Ты очень быстро прибежал!

Обрадованный похвалой, Алеша не успел взять его руку, как тот уже снова говорил среднему брату:

— Идем, он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодезь,—не надо?

— Да, не надо,—согласился младший, вздрагивая.—Это я упал в лужу, да?

Они ушли.

Все это разыгралось так быстро, что когда Алеша взглянул на сучок, с которого соскочил во двор,—он еще качался, сбрасывая желтый лист...

С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде; когда старший увидал Алешу на дереве, он крикнул ласково:

— Иди к нам!

Забрались все вместе под навес амбара, в старые пошевни, и, присматриваясь друг к другу, долго беседовали. Вдруг явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой мохнатой шапке.

— Это кто такой?—спросил он, указывая на Алешу пальцем.

Старший мальчик встал и кивнул головой на дедов дом:

— Он—оттуда...

— Кто его звал?

Мальчики, все сразу, молча, вылезли из пошевней и пошли домой, снова напомнив Алеше покорных гусей.

Старик крепко взял Алешу за плечо и повел по двору к воротам; Алеше хотелось плакать от страха пред ним, но он шагал так широко и быстро, что Алеша не успел заплакать, как уже очутился на улице, а старик, остановясь в калитке, погрозил ему пальцем и сказал:

— Не смей ходить ко мне!

Алеша рассердился:

— Вовсе я не к тебе хожу, старый чорт!

Длинною рукою своей старик снова схватил Алешу и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по его голове.

— Твой дед дома?

К несчастью, дед оказался дома; он встал пред грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед, и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как копейки:

— Мать у него в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому,—уж вы простите, полковник!

Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел.

В этот день дед особенно яростно сек Алешу.

В ШКОЛЕ

Дядя Михайло, отец Саши Михайлова, женился во второй раз. Мачеха с первых же дней не взлюбила пасынка, стала бить его, и, по настоянию бабушки, дед взял Сашу к себе. Алешу и Сашу отдали в школу.

Прежде всего Алешу стали учить, что на вопрос: «как твоя фамилия», нельзя ответить просто: «Пешков», а надобно сказать: «моя фамилия—Пешков».

А также нельзя сказать учителю:

— Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь...

Алеше школа сразу не понравилась, а Саша первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне:—Не буду-у...

Разбуженный, Саша попросился вон из класса, и был жестоко осмеян за это, а на другой день, по дороге в школу, спустясь в овраг на Сенной площади, он остановился и сказал Алеше:

— Ты—иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду.

Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный день, всюду сверкало солнце. Алеша позавидовал брату, но скрепя сердце пошел учиться,—не хотелось огорчить бабушку. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду...

Обоих мальчиков привлекли к суду,—в кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали; Саша смешно отвечал на вопросы деда:

— Как же это ты не попадаешь в училище-то?

Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал, не спеша:

— Забыл, где оно.

— Забыл?

— Да. Искал-искал...

— Ты бы за Лексеем шел, он помнит!

— Я его потерял.

— Лексея?

— Да.

— Это как же?

Саша подумал и сказал, вздохнув:

— Мятель была, ничего не видно.

Все засмеялись,—погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы:

— Ты бы за руку его держал, за пояс!

— Я держал, да меня оторвало ветром,—объяснил Саша.

Говорил он лениво, безнадежно, Алеше было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и он очень удивлялся упрямству Саши.

Обоих выпороли и наняли им провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанною рукою,—он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло: на другой же день Саша, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок, метнул его прочь от себя, снял другой и бросил его в ином направлении, а сам, в одних чулках, пустился бежать по Сенной площади. Старичок охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел Алешу домой.

Целый день дед и бабушка ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Чиркова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика, а он лежал с Алешей на полатях, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил:

— Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит,—что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним,—тогда вы все узнаете... Бежим вместе?

Алеша не мог бежать с ним: он надумал другое—он решил быть офицером, с большой светлой бородой,—такой офицер жил по соседству,—а для этого необходимо учиться. Когда Алеша рассказал брату план, тот, подумав, согласился:

— Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь из нас убьет другого, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать.

— И я тебя тоже.

На этом и порешили.

...Сашу оставили в покое и отправили опять к своим. Алешу же отправили к матери и та взяла с него слово, что он будет прилежно и хорошо учиться. Правду говоря, это было лишнее, потому что учиться Алеша был не прочь, и в истории с Сашей он-то пострадал совершенно напрасно, но школа встретила его неприветливо.

Алеша пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах «на выпуск». Все это сразу было осмеяно, за желтую рубаху он получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками он скоро впрочем поладил, но учитель и поп не взлюбили его.

Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей и разглядывал ее, качая головой.

Несколько дней Алеша сидел в первом отделении, на первой парте, почти вплотную к столу учителя,—это было нестерпимо, учитель гнусил все время:

— Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а!

Алеша платил ему за эту канитель озорством:

однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась—арбуз въехал вверх, а когда учитель притворил дверь—арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел Алешу с запиской учителя домой. Алешу высекли.

Другой раз он насыпал учителю в ящик стола нюхательного табаку; учитель так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже царя храни» и «Ах, ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно.

Поп не взлюбил Алешу за то, что у него не было «Священной истории ветхого и нового завета», и за то, что он передразнивал его манеру говорить.

Являясь в класс, он первым делом спрашивал:

— Пешков, книгу принес или нет!? Да. Книгу?

Алеша отвечал:

— Нет. Не принес. Да.

— Что—да?

— Нет.

— Ну, и—ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен.

В конце концов купить «Священную историю» оказалось необходимым. Придя домой и не застав матери, Алеша нашел у ней рубль и, идя на базар, сообразил, что на рубль можно купить не только «Священную историю», но наверное и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, он узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день,

во время перемены, он рассказывал мальчикам сказку, как вдруг один из них презрительно заметил:

— Сказки—чушь, а вот—Робинзон, это настоящая история!

Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, и Алеша тогда же решил прочитать Робинзона.

Робинзона, однако, он в книжной лавочке не нашел, зато кроме «Священной истории» принес в школу два растрепанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы.

Решив доказать мальчикам, что сказки тоже не чушь, он зазвал их домой, разделил с ними хлеб и колбасу и начал читать первую сказку «Соловей»:

«В Китае все жители—китайцы и сам император—китаец»—так начиналась сказка. Это всем понравилось.

Но в эту минуту явилась домой мать и спросила Алешу:

— Ты взял рубль?

— Взял; вот—книги...

Мать, не говоря ни слова, взяла сковородник, мальчики разбежались, а Алеша весьма основательно был побит. Потом вечером мать пришла к Алеше за печку, обняла его и, тихо плача, говорила:

— Прости, я виновата! Но мы бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка...—и не договорила...

Помирились с матерью, но пришел вотчим, второй муж матери, узнал про рубль, страшно рассердился, затопал ногами и закричал, что не хочет, чтобы у него в доме жил вор. Алеша перебрался опять к деду.

НА УЛИЦЕ

— Что, разбойник?—встретил дед Алешу, стуча рукою по столу.—Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит!

— И буду,—сказала бабушка.—Эка задача, подумаешь.

— Вот и корми,—крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив Алеше:

— Мы с ней совсем разделились, у нас теперь всё порознь...

Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева. Весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди лита—неизменна! А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрели подозрительно.

Бабушка рассказала Алеше, что дед разорился дотла. Дал барину одному все свои деньги, а барин обанкротился, и все деньги пропали. Посмеиваясь, бабушка рассказала и о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал:—Это—твое, а больше ничего с меня не спрашивай!

А от нее отобрал все ее вещи, продал их и деньги отдал под проценты. Он окончательно заболел скупостью и стал неописуемо жаден.

Все в доме строго делилось: один обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги,

на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он—требуху, печонку, легкие, сычуг. Не доверяя бабушке, дед и стряпал сам. При этом, возясь в углу между печью и окном, постоянно выбивал стекла из окна концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что, он, такой умный, не догадается обрезать ухваты.

Однажды, когда у деда что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал:

— Господи, господи...

Днем, когда он ушел, Алеша взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три, но дед, увидав его работу, начал ругаться:

— Бес проклятый,—пилой надо было отпилить, пило-ой! из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно, дьяволово семя!

И махая руками, он выбежал в сени.

Чай и сахар у деда и у бабушки хранились отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:

— Постой, погоди,—ты сколько положила?

Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:

— У тебя чай-то мельче моего, значит—я должен положить меньше: мой крупнее, наваристее.

Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости, и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек.

— По последней, что ли?—спрашивала она, перед тем, как слить весь чай.

Дед заглядывал в чайник и говорил:

— Ну, уж—по последней!

Алеше было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке—только смешно.

— А ты—полно!—успокаивала она Алешу.—Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков,—отшагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе—заработаю кусок, небойсь!

Начал зарабатывать деньги и Алеша: по праздникам, рано утром, он брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо—тоже, пуд костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался он этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у него деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала его, опустив глаза:

— Вот и спасибо-те, голубà-душа! Мы-то с тобой не прокормимся,—мы? Велико дело!

Однажды Алеша подсмотрел, как она, держа на ладони его пятаки, глядела на них и молча плакала.

В школе ученики высмеивали Алешу, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от Алеши пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом с ним. Жалоба была выдумана со зла: Алеша очень усердно мылся ка-

ждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.

Не хотелось ему ходить в школу после этого, да, к счастью, сдал вскоре экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие и басни Крылова в переплете, да еще похвальный лист.

Когда Алеша принес эти подарки домой, дед очень обрадовался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку к себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:

— Опиваете меня, объедаете до костей, эх, вы-и...

Алеша отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и вручил деду. Тот бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив озорства...

Разделавшись со школой, Алеша зажил на улице. Приближалась весна, заработок стал обильнее, и подобралась у Алеши дружная ватага товарищей: десятилетний Вяхирь, сын нищей мордовки, мальчик милый, нежный и всегда спокойно-веселый; безродный Кострома, вихрастый, костлявый с огромными черными глазами; татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, простодушный и добрый; тупоносый Язь, мальчик лет восьми, молчаливый как рыба, а самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы, Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец; все—люди с одной улицы.

Больше других заработков мальчикам нравилось собирание костей и тряпок. Это стало особенно

интересно весной, когда сошел снег, и после дождей, чисто омывавших мощеные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко находились деньги, медь и серебро, но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли и не отнимали мешков, нужно было или платить им пятаки или долго кланяться им. Вообще деньги давались мальчикам не легко, но жили они очень дружно и хотя иногда ссорились немножко, но ни одной драки не было между ними.

Общим примирителем был Вяхирь; он всегда умел во-время сказать какие-то особенные слова; простые,—они удивляли и конфузили ссорящихся. Злые выходки Язя не обижали, не пугали его, он находил все дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал:

— Ну, зачем это еще?—спрашивал он, и все ясно видели—не-зачем!

Вяхиря била мать, если он не приносил ей каждый день на шкалик или на косушку водки; Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту; мать Чурки была больна, он старался заработать как можно больше; Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился и откуда его вывез дядя, утонувший вскоре по приезде в Нижний. Хаби забыл, как называется этот город, помнил только, что он стоит на Каме, близко от Волги.

Мальчиков почему-то очень смешил этот город, они дразнили косоглазого татарчонка, распевая:

Город на Каме,
где — не знаем сами!

Сначала Хаби сердился на них; но однажды Вяхирь сказал ему воркующим голосом:

— Чего ты? Разве на товарищев сердются?

Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе на Каме.

Мать свою Вяхирь называл: «моя мордовка».

— Вчерась моя мордовка опять привалилась домой пьянехонькая!—весело рассказывал он, поблескивая круглыми глазами золотистого цвета.—Расхлебянила дверь, села на пороге и поет, и поет, курица!

— Да,—продолжал он,—так она и заснула на пороге, выстудила горницу, беда как, я весь дрожу, чуть не замерз, а стащить ее—силы не хватает. Уж сегодня утром говорю ей: что ты такая страшная пьяница? А она говорит: ничего, потерпи немножко, я уж скоро помру!

Чурка серьезно подтверждает:

— Она скоро помрет, набухла уж вся.

— Жалко будет тебе?—спрашивает Алеша.

— А как же?—удивляется Вяхирь.—Она ведь у меня хорошая...

Грамотных в компании было двое—Чурка да Алеша; Вяхирь очень завидовал им и ворковал, дергая себя за острое, мышиное ухо:

— Схороню свою мордовку,—тоже пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтобы взял меня.

Мать Вяхиря скоро, действительно, умерла, а Чурка сказал ему:

— Айда ко мне жить, мамка моя выучит тебя грамоте...

И через малое время Вяхирь, высоко задирая голову, читал вывески:

— Балакейная лавка...

Чурка поправлял его:

— Бакалейная, кикимора!

— Я вижу, да перескакивают буквовки.

— Буковки!

— Они прыгают—рады, что читают их!

Он очень смешил и удивлял товарищей своей любовью к деревьям, травам.

Слобода, разбросанная по песку, была скупа растительностью, лишь кое-где по дворам одиноко торчали бедные ветлы и кривые кусты бузины, да под забором бойко прятались серые, сухие былинки; если кто-нибудь из мальчиков садился на них,—Вяхирь сердито ворчал:

— Ну, на что траву мнете? Сели бы мимо, на песок, не все ли равно вам?

При нем неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать прут ивняка на берегу Оки—он всегда удивлялся, вздернув плечи и разводя руками:

— Что вы всё ломаете? Вот уж черти!

И всем было стыдно от его удивления.

СТРАХИ

Всю весну мальчики сообща и дружно промышляли ветошничеством. Но к лету компания развалилась. Вяхирь помер от оспы, так и не пришлось

ему книжек почитать. Хаби ушел из слободы и жил в городе, у Язя отнялись ноги, он не гулял.

А старшие мальчики, черноглазый Кострома да Чурка, все чаще стали ссориться. Особенно после того, как появилась на дворе хроменькая девочка Людмила. На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причесанные волосы лежали на груди толстой короткой косой. Глаза у нее были большие, серьезные, лицо худенькое, остроносое. Она приятно улыбалась, а когда здоровалась, три раза под ряд кивала головой.

И Чурке и Костроме хотелось отличиться перед ней. Во время игры тот или другой бежал похвастаться:

— Видела, Людмила, как я все пять пушек из города вышиб?

Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.

Раньше вся компания друзей старалась держаться во всех играх вместе, а теперь Алеша замечал, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях. Однажды Кострома, позорно проиграв Чурке партию, спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал. Другой раз они подрались так, что их разливали водой, как собак.

Алеша видел, что теряет прежних товарищей, и это ему очень не нравилось. Отличаться и хвастаться перед Людмилой—все это он считал пустяками. Но случилось, что сам Алеша отличился и не только перед Людмилой, а перед всей улицей. Произошло это так.

Сидели у ворот: Алеша, Людмила, Чурка и Кострома. Подсела к ним соседская лавочница и стала рассказывать об охотнике Калинине, седеньком старичке с хитрыми глазами. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб черный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской—изображены крест, копье, трость и две кости. Каждую ночь, как только стемнеет, старик встает из гроба и ходит по кладбищу. Может он это делать потому, что он колдун!

— Ой, не говори о страшном!—просила Людмила.

— Ну, что врешь?—сказал Кострома лавочнице.—Я сам видел, как зарывали гроб, сверху-то пустой поставили—просто камень, для памятника... А что ходит покойник—это пьяные кузнецы выдумали...

— А если вру,—обиженно заговорила лавочница,—так пойди ночью на кладбище, переспи там!

Подошел сын лавочницы Валёк, толстый, румяный парень, узнал, в чем дело, и сказал Костроме:

— Пролежишь до света на гробу—двугривенный дам и десяток папирос, струсишь,—уши надеру, сколько хочу, ну, пойдешь?

Кострома покраснел и отошел за угол, делая вид, что чем-то занялся.

Валёк самодовольно и торжествующе хохотал.

— Давай рубль, пойду!—сказал вдруг Чурка.

— А за двугривенный — трусишь? — выскочил вдруг из-за угла Кострома. И сказал Вальку:—Дай ему рубль, все равно не пойдет, форсит только...

— Ну, бери рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошел прочь, держась близко к забору. Валёк опять захохотал, а Людмила тревожно заговорила:

— Ах, господи! хвастунишка какой... что же это!

— Куда вам, трусы!—издевался Валёк.—А еще первые бойцы улицы считаетесь, котята...

Алеше было обидно слушать издевки этого сытого парня. Но еще обиднее было за товарища, стыдно было смотреть, как уходит Чурка, съежившийся и пристыженный.

Он вышел вперед и сказал Вальку:

— Давай рубль, я пойду...

Озадаченный Валёк стал пугать Алешу и посмеиваться, но тот стоял на своем.

Пришлось Вальку отдавать рубль кому-нибудь на хранение до конца спора, но тут оказалась другая беда. Никто из подошедших баб не хотел брать рубля.

— Глупости какие!—говорили они строго.—Разве можно детей подбивать на этакое...

Алеша хотел было уже итти, не требуя денег, но тут подошла бабушка и, узнав, в чем дело, взяла рубль, а Алеше спокойно сказала:

— Пальтишко надень да одеяло захвати, а то к утру холодно станет...

Условие было такое: Алеша должен был до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что̀ бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнет вылезать из могилы. Если Алеша спрыгнет на землю, то проиграет.

...Алеша шел быстро. Ему хотелось поскорее на-

чать и кончить все это. Его сопровождали Валёк, Кострома и еще какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, он запутался в одеяле и упал. За оградой захохотали. Что-то ёкнуло в груди у Алеши, по коже спины пробежал неприятный холодок. Спотыкаясь, он дошел до каменного гроба. Потом, закутавшись в одеяло, уселся на нем, подобрав ноги. Когда он шевелился, гробница поскрипывала и песок под нею хрустел.

Вдруг что-то ударило о землю сзади него раз и два, потом близко упал кусок кирпича,—это было страшно, но Алеша тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания хотят испугать его.

Потом Алешу стало клонить в сон; он свернулся калачиком и заснул: будь, что будет! В песке было много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и Алеше стало казаться, что он лежит на плотах и смотрит в воду. Вдруг—почудилось—к самому лицу его подплывает подлещик. Он повертывается боком, белым пятном. Потом взглянул на Алешу круглым птичьим глазом и нырнул в глубину, колеблясь, как падающий лист клена.

Больше ничего страшного в эту ночь Алеша не видел.

Разбудила его бабушка. Стоя рядом с ним и стаскивая одеяло, она говорила:

— Вставай! Не озяб ли? Ну, что, страшно?

— Немножко, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

— А почему молчать?—удивилась она.—Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

— Все надо самому испытать, голубá-душа, все надо самому знать... Сам не поучишься—никто не научит.

К вечеру Алеша стал героем улицы, все спрашивали его:

— Да неужто не страшно?

И когда он говорил:

— Страшно!

Качая головами, восклицали:

— Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убежденно заявила:

— Стало-быть, врали, что Калинин встает. Кабы вставал, так разве уцелел бы мальчишка? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда...

Людмила смотрела на Алешу с ласковым удивлением. Даже дед был, видимо, доволен им—все ухмылялся.

В ЛЕСУ

Нужда все больше давала себя знать, и Алеша решил заняться новым ремеслом: ловлей птиц. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток.

И вот на рассвете Алеша сидит в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи. Птицы смешат Алешу своими хитростями: лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири—глупо-

ваты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь; когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клест идет в западню спокойно и солидно; поползет неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бегает по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто ее не любит, и она никого. Она, как сорока, любит воровать и прятать мелкие вещи.

Алеше немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки; ему больше нравится смотреть на них, но желание заработать деньги побеждает сожаление.

Когда бабушка впервые продала пойманных Алёшею птиц за сорок копеек, это очень удивило ее.

— Гляди-ка ты! Я думала—пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось!

— Дешево еще продала...

— Да ну?

В базарные дни она продавала на рубль и более и все удивлялась: как много можно заработать пустяками!

— А женщина целый день стирает белье или полы моет по четвертаку в день, вот и пойми! А ведь нехорошо это! И птиц держать в клетках нехорошо! Брось-ка ты это, Олёша!

Но Алеша уж очень увлекся птицеловством. К тому же лес заставлял его забывать все огорчения и неприятности. После дня, проведенного в лесу,

Алеша замечал, что слух и зрение его становились острее, память—более крепкой. А сколько интересного он узнал и увидел!

Алеша стал почти каждый день просить бабушку:

— Пойдем в лес!

Она охотно соглашалась, и так они прожили все лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи.

Бабушка никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие—в ином, и часто экзаменовала Алешу.

— А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник?

По незаметным царапинкам на коре дерева она указывала Алеше беличьи дупла, он влезал на дерево и опустошал гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму; иногда в гнезде их было фунтов до десяти.

Однажды Алеша провалился в глубокую яму, распоров себе суком бок и разодрав кожу на затылке. Он сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и со стыдом чувствовал, что сам не вылезет, а пугать криком бабушку ему было неловко. Однако, позвал ее.

Она живо вытащила его и, крестясь, говорила:

— Слава те, господи! Ну ладно, что пустая берлога, а кабы там хозяин лежал?

И заплакала сквозь смех. Оказывается, яма-то была не простая, а медвежья. Бабушка повела Алешу к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубаш-

кой и приложила каких-то листьев, утоливших боль. А то еще так было.

Как-то вечером, набрав белых грибов, Алеша и бабушка, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а Алеша зашел за деревья—нет ли еще гриба?

Вдруг слышит он ее голос и видит: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около нее, вывесив язык, стоит серая, поджарая собака.

— А ты иди, иди прочь!—говорит бабушка.—Иди с богом!

Незадолго перед этим Валёк отравил Алешину собаку; Алеше очень захотелось приманить эту, новую. Но когда он выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на него зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и, когда Алеша свистнул, она дико бросилась в кусты.

— Видал?—улыбаясь, спросила бабушка.—А я вначале обозналась, думала—собака, гляжу—ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны...

Кончилось все же несчастьем. Однажды, когда Алеша вынимал на дереве из беличьего дупла орехи, какой-то охотник всадил Алеше в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а остальные сидели в его коже долгие годы, постепенно выходя. Бабушке нравилось, что Алеша терпеливо относится к боли.—Молодец,—хвалила она,—есть терпенье, будет и уменье!

КОЛДУН

Привольная жизнь Алеши с бабушкой прервалась неожиданно.

Однажды дед пришел из города весь мокрый,—была осень и шли дожди,—встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал:

— Ну, шалыган, завтра сбирайся на место!

— Куда еще?—сердито спросила бабушка.

— К Егоровне, в иконописную мастерскую.

— Ох, отец, худо ты выдумал!

— Молчи!—сказал дед.—Бросить ему пора пустые дела-то! Через птиц никто в люди не выходил, не было такого случая, я знаю! А там, может, мастером его сделают.

...В мастерской жарко и душно, комната тесно заставлена столами, за каждым столом сидит, согнувшись, иконописец, за иными двое. Работает около двадцати человек «богомазов». Все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, босые или в опорках. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.

С первых же дней Алеша заметил одну странность. Иконописцы рисовали не так, как случалось рисовать Алеше на бумаге, не целым рисунком, а по частям. Один мастер рисует только деревья, другой только одежду, третий только лицо и руки. Когда большие иконы стояли у стен без лица, рук и ног, было неприятно смотреть. Да и самим мастерам работа была нестерпимо скучна, словно занима-

лись они без конца одним и тем же смертельно надоевшим им делом.

Впрочем Алеше скучать да смотреть по сторонам было некогда. Утром его будил сердитый крик кухарки, и он шел ставить самовар для мастеров. После готовил посуду для чая на длинном столе среди мастерской и будил мастеров, а те ругали его и лягали ногами. Потом быстро убирал постели, мел мастерскую и, выпив стакан холодного чая, доставал большую каменную плиту. На этой плите он растирал краски большим пирамидальным камнем. От тяжелого камня у него болели руки, плечи и спина. После обеда чистил пемзою доски, зашпаклеванные под иконы, и, кашляя и чихая, долго дышал меловой пылью... Но самым трудным делом была заготовка яичных желтков для красок (краски разводились на желтках). Осторожно разбив яйцо, нужно было слить желток в одну чашку, белок в другую. Когда Алеша портил яйцо, раздавив в нем желток, или сливал белок в чашку с желтками, он получал звонкие подзатыльники, а старик мастер замахивался огромной волосатой рукой и рычал:

— Я т-тебя!

У той же хозяйки служил и двоюродный брат Алеши, Саша Яковов. Только находился он не в мастерской, а в иконной лавке, в рядах. Саша Яковов по виду был тихий, ласковый, перед старшими выслуживался, но с Алешей был горд и не замечал его. Еще тогда, когда жили в красильне, дед, поглядывая на него искоса, говорил:

— Экой подхалим!

Гордился Саша тем, что скоро будет он вторым

приказчиком и что теперь уже он носит рыженький сюртучок и брюки навыпуск. Постоянным врагом его была кухарка, женщина странная,—нельзя было понять, добра она или зла.

— Лучше всего на свете люблю я бои,—говорила она, широко открыв черные, горячие глаза.—Мне всё едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики—мне это всё едино.

По праздникам, вечерами, она говорила Алеше и Саше:

— Што вы, ребятишки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердился:

— Я тебе, дура, не ребятишка, а второй приказчик!

— Ну, этого я не вижу.—И добавляла:—Эх, ты, таракан, богова ошибка!

Сердясь на кухарку, Саша уговаривал Алешу намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натыкать в ее подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней. Алеша смотрел на него немо, удивляясь его злобе.

Однажды вечером, разобиженный кухаркою Саша долго плакал, лежа в постели, а потом вдруг приподнял голову и спросил Алешу:

— Хочешь, посмотрим мой сундук?

У Саши был таинственный сундук, и Алеше давно хотелось узнать, что он туда прячет. Саша запирал его висячим замком и открывал всегда с каким-то особенным видом.

Алеша согласился, и мальчики сели на кровать, не спуская ног на пол. Саша тоном приказания ве-

лел поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на груди. Оглянув темные углы комнаты, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячей, и, наконец, приподнял ее.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками и жестянками из-под ваксы и сардин. Алеша был изумлен до крайности.

— Это что?

— А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько:

— Ца-рю не-бе-сный...

Открыв первую коробку, он вынул из нее оправу от очков, надел ее на нос и, строго глядя на Алешу, сказал:

— Это ничего не значит, что стекол нет, это уж такие очки!

— Дай мне посмотреть!

— Тебе они не по глазам. Это для темных глаз, а у тебя какие-то светлые...

В коробке из-под ваксы лежало много разных пуговиц. Саша объяснил с гордостью:

— Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...

В поисках тряпок и костей Алеша легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызывали у него чувство разочарования, смущения и томительной жалости к этому чудаку. А тот разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил ее пальцами, его толстые губы важно оттопыривались,

выпуклые глаза смотрели умиленно и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

— Зачем это тебе?—спросил Алеша.

Саша мельком взглянул на Алешу сквозь оправу очков и спросил:

— Хочешь, подарю что-нибудь?

— Нет, не надо.

Обиженный отказом, Саша помолчал минуту, потом тихонько сказал:

— Возьми полотенце, перетрем всё, а то запылилось...

Когда вещи были перетерты и уложены, Саша кувырнулся в постель и, не оборачиваясь, сказал:

— Погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку,—ахнешь!

Алеша промолчал, укладываясь спать.

...Через несколько дней, в праздник, когда хозяева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал:

— Идем!

Вышли в сад. Саша прошел в угол сада, остановился под липой, присел на корточки и разгреб руками кучу листьев. Обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Саша приподнял их, под ними оказался кусок кровельного железа, под железом квадратная дощечка и, наконец, открылась большая дыра, уходящая под корень. Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дырку и сказал:

— Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел и неприятно распустил губы. Страх его передался Алеше, тот очень осторожно

заглянул в углубленье под корнем и что же увидел?—Открылась довольно обширная пещера глубиною с ведро, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчевый покров, из-под покрова высовывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. Вокруг всего этого горели три восковые огарка в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.

Запах воска, теплой гнили и земли бил Алеше в лицо, и все это вызвало у него тягостное удивление и отвращение.

— Хорошо?—спросил Саша.

— Это зачем?

— Часовня,—объяснил он.—Похоже?

— Не знаю.

— А воробей—покойник! Может, мощи будут из него, потому что он невинно пострадавший мученик.

— Ты его мертвым нашел?

— Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

— Зачем?

— Так...

Он заглянул Алеше в глаза и снова спросил:

— Хорошо?

— Нет.

Тогда Саша наклонился к пещере, быстро прикрыл ее доской, железом, втиснул в землю кирпичи,

встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

— Почему не нравится?

— Воробья жалко.

Он посмотрел неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул Алешу в грудь, крикнув:

— Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится. У тебя что ли лучше было?

Алеша вспомнил своих синиц и снегирей и ответил уверенно:

— Конечно, лучше!

Саша сбросил с плеч на землю свой сюртук и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил:

— Когда так, давай драться!

Драться Алеше не хотелось, ему было скучно и неловко смотреть на озлобленное лицо товарища.

Саша наскочил, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на Алешу и закричал:

— Жизни али смерти?

Алеша был сильнее его и очень рассердился; через минуту Саша лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, Алеша стал было поднимать его, но он лежал неподвижно. Алеша отошел в сторону, не зная, что делать. Тогда Саша, приподняв голову, заговорил:

— Что взял? Вот буду так валяться, покуда хозяйка не увидит, а тогда и пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят!

Его слова рассердили Алешу, он бросился к пе-

щере, вынул камни, гроб с воробьем, изрыл всё внутри пещеры и затоптал ее ногами.

— Вот тебе, видел?

Он ожидал буйства и рёва, но Саша отнесся ко всему этому странно: сидя на земле, он не двинулся с места, а когда Алеша кончил, не торопясь встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал:

— Теперь увидишь, что̀ будет, погоди немножко! Это ведь я все нарочно сделал для тебя, это— колдовство! Ага?..

Алеша так и присел от неожиданности. А Саша ушел, не оглянувшись, все с тем же зловещим спокойствием.

На другой день утром кухарка, разбудив Алешу, закричала:

— Батюшки! Что у тебя с рожей-то?..

«Началось колдовство!»—с тревогой подумал Алеша.

Кухарка заливчато хохотала, размахивая руками, а Алеша бросился к зеркалу: лицо у него было густо вымазано сажей.

— Это Саша?

— А то я?—смешливо кричала кухарка.

Алеша начал чистить обувь, сунул руку в башмак,—в палец ему впилась булавка.

— Вот оно колдовство!

Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались ему в ладонь. Тогда Алеша взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил ее на голову еще не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.

С тех пор Саша старался как можно больше делать ему неприятностей, кляузничал на него хозяйке, портил его работу. Алеша решил бежать от грубых и скучных богомазов, от толстой сварливой хозяйки, от попреков и подзатыльников, от всей этой нудной, дурацкой жизни. Алешу манила жизнь на воле, среди славных товарищей, интересных взрослых, в поле, в лес, на улицу, где скоро стает снег и повеет теплом. Но было еще холодно, бежать было некуда: домой, ведь, нельзя было показаться— дед рассвирепеет и ничего хорошего не выйдет.

Вскоре, однако, случилось событие, которое решило дело. Раз послали Алешу к столяру за досками. Доски оказались еще не готовы. Возвращался Алеша уже вечером по другой улице и, проходя мимо большой круглой постройки, остановился, привлеченный яркой афишей:

КЛОУН ФРИЦ! НАЕЗДНИЦА КЛАРА!

Незаметно для себя оказался у дверей цирка и с народом втолкнулся в деревянное неуклюжее помещение. Какие-то люди в зеленой одежде и с красными галунами указывали пальцем, кому куда итти. Проскочив мимо ног по лестнице, ведущей наверх, Алеша оказался стиснутым со всех сторон и между ног каких-то бородатых людей и франтов пробрался к решотке.

То, что увидел он, заставило его замереть на месте. Он стоял на галлерее, плотно прижавшись

грудью к дереву перил, и, бледный от напряженного внимания, смотрел на арену, где кувыркался ярко одетый клоун. Окутанное пышными складками розового и желтого атласа тело клоуна, гибкое, как у змеи, мелькая на темном фоне арены, принимало различные позы: оно, как мяч, подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось там, падало на песок арены и быстро каталось по ней... Потом клоун вновь извивался, кувыркался и прыгал, играя колпаком. При каждом движении золотые блестки, нашитые на атласе, сверкали, как искры...

— Фот тяк!...—ломаным языком и тонким голосом говорил клоун, перепрыгивая через стул.

— И фот тяк!..—он вспрыгнул на спинку стула, несколько секунд балансировал на ней, но вдруг, неестественно изогнувшись, упал и, съежившись в ком, вместе со стулом замелькал по арене, так что казалось, будто стул ожил и гонится за ним!.. Это было поразительно. На лице Алеши стали появляться уморительные гримасы, повторявшие мимику клоуна. Алеша повторял бы и жесты, но был стиснут со всех сторон до того, что не мог двинуть рукой. Сзади на него навалился какой-то бородач в купеческом костюме, с боков тоже давили его.

На галлерее было душно: грудь, прижатая к дереву перил, болела, ноги ныли, он устал от толчков, но—до того ли ему было!

Сильно захотелось самому быть там, на арене, в таком же сияющем костюме, смешить людей, слышать их похвалы и видеть сотни хороших веселых лиц.

Потом ездила на лошади какая-то барыня в длин-

ном черном платье и в шляпе, похожей на маленькое ведерко,—но все это было уже не то!

Возвращаясь из цирка, Алеша подбегал к окнам магазинов и подолгу рассматривал отражение в стекле скуластой рожицы с черными живыми глазами. Рожица делала уморительные гримасы, потом хозяин рожицы весело свистел и с прыжком удалялся. Скача через канавы, он кричал:

— Фот тяк... и фот тяк!..

Только подходя к двухэтажному хмурому дому своей хозяйки, Алеша сообразил, что дело не так просто и не так весело. Толкнулся в калитку и убедился, что она заперта. Стучать—значит сейчас же получить возмездие за свою вольную отлучку. Алеша предпочел дело оттянуть и перелез через забор. Потом выбрал укромный уголок двора—узкую дыру между поленницей дров и стеной погреба и зарылся в солому—это было не хуже постели под столом в мастерской. С наслаждением вытянулся Алеша на спине и несколько минут смотрел в небо. В небе сверкали звезды. Они напоминали Алеше золотые блестки на атласном костюме клоуна. Подумал о том, что есть какая-то жизнь, совсем непохожая на жизнь грязной мастерской богомазов и на хмурых ее обитателей. Подумать еще о чем-нибудь он не успел, потому что тотчас же заснул.

Проснуться его заставило странное ощущение: ему показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит за собой все тело. Он с испугом открыл глаза. Но дело оказалось проще. Вытянувшись

на соломе, он незаметно для себя высунул ногу за поленницу, и по этой ноге его нашла кухарка.

— Чертенок,—укоризненно говорила она, дергая его за ногу,—да я ж тебя ищу сколько! Тащи дров! Ставь самовар! Буди людей! Мети пол!

Все обязанности, которые Алеше приходилось выполнять в известной последовательности,—теперь нужно было отправлять сразу. Но это его не смутило. Вертясь по комнате, он подбегал к кухарке и рассказывал:

— А я в цирке вчера был—здорово представляли.—Фот тяк!

Кухарка закричала было на него, но, увидав Алешино представление, покатилась со смеху.

— Ах ты, таракан, ведь уж перенял, а?

Высыпали в кухню и мастера. Увидав домашний цирк, захохотали, забыв даже наказать гастролера.

Дело обещало сойти с рук. Весь день Алеша за работой показывал мастерам все известные ему номера и чувствовал себя героем дня. Было приятно, что он мог вызвать веселый смех на лицах этих людей, занятых постоянно ссорами и руганью.

Кончилось, однако, плохо. Неся готовую икону и делая на ходу прыжок, он передвинул палец и смазал живопись. Наступила тишина. Старший мастер медленно подошел к нему. Потом он неторопливо запустил свои пальцы Алеше в волосы и, с большой силой подняв его на воздух, бросил на пол. Это в мастерской было самое сильное наказание.

— Ловко кувырнулся, паяц!—захохотали вокруг.

— Это, брат, воздушный полет!

— Ха-ха! Ну-ка, Лексей, еще!

Этот смех резал Алеше душу и был больнее побоев.

Потом ему приказали накрывать стол. В кухне его ждало новое наказание. Хозяйка подманила Алешу к себе и стала мотать его за ухо, приговаривая:

— А ты, чертенок, спи, где велят, не прячься, не прячься, не пряч-чься!

Алеша ловко свалился под ноги хозяйке. Она перевалилась через него и звонко стукнулась лбом, загородив полкухни.

Теперь Алеше выбора не было; опрометью выбежал он на улицу и бежал, пока не почувствовал себя в безопасности. Оглянувшись, он увидел себя на набережной Волги. Ласково сиял весенний день. Волга разлилась широко, на земле было шумно, просторно. Неужели Алеше жить, как мышонку, в погребе?

ПОВАРЕНОК НА ПАРОХОДЕ

Несколько дней шатался Алеша по набережной, подсаживался к лохматым и могучим крючникам, питался около них, ночуя с ними на пристани. Потом один из них сказал ему:

— Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там поваренка надо...

Алеша пошел; высокий бородатый буфетчик в черной шолковой шапочке без козырька посмотрел на него сквозь очки мутными глазами и тихо сказал:

— Два рубля в месяц. Паспорт!

Паспорта у Алеши не было. Какой там паспорт!

Буфетчик смерил Алешу взглядом, подумал и сказал:

— Ну, ладно. Идем!

Он повел мальчика на корму парохода. Там Алешу ждало необычайное зрелище. За столиком сидел, распивая чай и куря толстую папиросу, огромный человек в белой куртке и в белом колпаке. Он так шибко курил, что клубы табачного дыма временами закрывали его. Потом сквозь них появлялась большая остриженная голова и темные глаза. Весь в белом, он все-таки казался чумазым, на пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы. Это был повар. Буфетчик толкнул Алешу к нему и сказал:

— Поваренок.

После этого буфетчик ушел. Повар, фыркнув, ощетинил черные усы и сказал вслед ему:

— Нанимаете всякого беса, ибо дешевле...

Алеше такой прием не понравился. А повар сердито вскинул большую остриженную голову, вытаращил глаза, напрягся, надулся, как мяч, и закричал зычно:

— Кто ты такой?

— Я хочу есть,—сказал Алеша.

Огромное лицо повара минуту сохраняло прежнее свирепое выражение, потом подмигнуло одним глазом, и вдруг все изменилось от широкой улыбки: толстые каленые щеки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко опустились. Повар стал похож на толстую добрую бабу.

Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил

свежего, подвинул Алеше непочатую булку, большой кусок колбасы.

— Лопай! Отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь все воры—научат!

Говорил он, точно лаял. Его огромное, до-синя выбритое лицо было покрыто около носа сплошной сетью красных жилок, пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя губа тяжело и брезгливо отвисла, в углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он, видимо, только что пришел из бани—от него пахло березовым веником и перцовкой, на висках и на шее блестел обильный пот.

— Так нету отца-матери? Ну, и не надо, без них проживем. Только не трусь! Понял?

С Алешей давно уже никто не говорил так хорошо. Он почувствовал друга в этом большом человеке и слушать его стало невыразимо приятно.

Когда Алеша напился чаю, повар сунул ему рублевую бумажку.

— Ступай, купи себе фартуки и колпак. Стой,— я сам куплю!

Поправил колпак и пошел, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь.

Надев все белое, такое же, как у повара, только во много раз меньше, Алеша стал жить на стареньком рыженьком пароходике, с белой полосой на трубе.

Пароходик скрипел, тарахтел и не торопясь шлепал плицами по серебряной воде. Алеша должен был чистить картошку, рубить морковь, молоть мясо и вертеться около повара, подавая ему то и сё.

На его же обязанности лежало мытье всей посуды, которую за день напачкают пассажиры.

Люди деловые, спешившие куда-либо, садились на почтовые пароходы, идущие скорее. А пароходик «Добрый» шел медленно, и Алеше казалось, что и ехали на нем всегда какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пили и ели. Бывало так, что Алеша с шести часов утра начинал мыть посуду, чистить ножи и вилки и работал вплоть до полуночи.

В первый день, после обеда, повар позвал Алешу в свою каюту. Алеша думал, что он его будет учить чему-нибудь или наставлять в новых обязанностях, но произошло нечто другое и весьма удивительное.

Повар лег на койку, у стола. За стеной был ледник, и повар нарочно выбрал себе такое место, считая необходимым охлаждать себя время от времени. Потом он сунул удивленному Алеше книжку в кожаном переплете и сказал:

— Читай!

Алеша сел на ящик макарон и стал читать:

«Умбракул, распещренный звездами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пророков»....

— Верблюды?!—зарычал повар.—Написали...

«Венерабль отвечает: посмотри, любезный мой фрер Сюверьен»...

— Вот чертовщина!— хрипит повар.— Там, в конце, стихами написано, катай оттуда.

Алеша катает:

«Профаны, любопытствующие знать наши дела.
Никогда слабые ваши очи не узрят оных.
Вы и того не узнаете, как поют фреры».

— Стой,—кричит повар,—да это ж не стихи! Дай книгу...

Он сердито перелистал толстые синие страницы и сунул книгу под тюфяк.

— Возьми другую...

У него в черном сундуке, окованном железом, книг было много: «Письма лорда Седенгали», «Гервасий», «Омировы наставления» и прочее все такое же. Странные слова надоедливо запоминались Алеше, щекотали язык, хотелось повторять их,—может быть, тогда откроется их смысл.

А повар ворчит:

— Сочиняют, ракалии... Как по зубам бьют, а за что—нельзя понять. Гервасий! А на чорта он мне сдался, Гервасий этот! Умбракул...

Наворчавшись вдоволь, повар закрыл глаза и долго лежал, посапывая носом. Его большой живот колыхался, волосатые пальцы рук, сложенные на груди, шевелились, точно вязали невидимый чулок.

Потом заговорил:

— Ты читай! Не поймешь книгу—еще раз читай! Найдешь правильные книги—будет у тебя большой разум. Разности меж людьми—в глупости. Один умный, другой—меньше, третий—совсем дурак. А чтобы поумнеть, надо читать книги. Это не пустяки, книги!

Алеше казалось странным, что Умбракул наставит его на разум. Читая каждый день повару, он потел с досады, но ничего не понимал. Дело изменилось после того, как жена капитана, узнав о странных чтениях в каюте повара, прислала им «Тараса Буль-

бу» Гоголя. Повар отнесся к книге враждебно и сказал Алеше угрюмо:

— Ерунда, наверно, сказки. Ну-ка, читай!

Слушая о молодецких битвах запорожцев, он ворчал:

— А, ерунда! Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья, нельзя! И на пику нельзя поднять—переломится пика! Я ж сам солдат...

Но когда Тарас своей рукою пристрелил сына, изменившего казакам, повар спустил ноги с койки, уперся в нее руками, согнулся и заплакал,—медленно потекли по щекам слезы, капая на палубу; он сопел и бормотал:

— А, боже мой... боже мой...

И вдруг заорал на Алешу:

— Да читай же, чортова кость!

А когда другой сын Тараса попал в плен и перед казнью на площади крикнул отцу: «Батько! Слышишь ли ты?»—повар заплакал еще сильнее и горше.

— Все погибло,—всхлипывал он,—все, а! Уже конец? Эх, проклятое дело! А были люди, Тарас этот—а? Да-а, это—люди...

Взял у Алеши из рук книгу и внимательно рассмотрел ее, окапав переплет слезами.

— Хорошая книга! Просто—праздник!

За «Тарасом» пошли другие столь же интересные книги, и Алеша с поваром часами проводили время за чтением. Буфетная прислуга стала смотреть на Алешу исподлобья, на него покрикивали:

— Эй, ты, книгочей! Ты за что деньги получаешь?

Однако, повар никому в обиду Алешу не давал. А так как силища у него была нечеловеческая, то от одного голоса его все трепетали. Раз, когда боцман, красивый и злой мужик, стал издеваться над кочегаром, тихим и безответным человеком, повар схватил боцмана за шиворот и за пояс, поднял на воздух и начал трясти, спрашивая:

— Хошь—расшибу?

Боцман после этого едва отдышался.

Алеша как-то спросил повара.

— Зачем вы пугаете всех? Ведь вы добрый!

Повар усмехнулся.

— Это я только к тебе добрый,—сказал он. Потом добавил:—А пожалуй, верно, я ко всем добрый. Только не показзываю этого, нельзя это показывать людям, а то они замордуют... Знаю я их! Верблюды...

Оба всё больше и больше увлекались чтением, и повар часто отрывал Алешу от работы криком:

— Пешков, иди читать!

— У меня немытой посуды много!

— Старший посудник вымоет.

Старший посудник ругался и старался сделать Алеше как можно больше неприятностей. Раз он выложил в таз с грязной водой и спитым чаем несколько стаканов. Алеша, не зная того, выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.

Когда разгневанный буфетчик накинулся на Алешу, повар сказал спокойно:

— Это моя вина! Запишите мне.

И не только посудник, но и официант, и кухонный мужик стали всё больше вредить Алеше.

НЕСТРОЕВОЙ СОЛДАТ

Поступил на пароход новый кухарь, солдатик из Вятки, костлявый, с маленькой головкой и рыжими глазами. Повар тотчас послал его резать кур; солдатик зарезал пару, а остальных распустил по палубе; пассажиры начали ловить их—три курицы перелетели за борт и утонули. Тогда солдатик сел на дрова около кухни и горько заплакал. В это время из кухни вышел повар.

— Ты что, дурак?—изумленно спросил он.— Разве солдаты плачут?

— Я — нестроевой роты,— тихонько сказал солдат.

Это погубило его,—через полчаса все люди на пароходе хохотали над ним; подойдут вплоть к нему, уставятся глазами прямо в лицо, спросят:

— Этот?

И затрясутся в судорогах обидного, нелепого смеха. Солдат сначала не видел людей, не слышал смеха; собирая слезы с лица рукавом ситцевой старенькой рубахи, он словно прятал их в рукав. Но скоро его рыжие глазки гневно разгорелись, и он заговорил скороговоркой:

— Што вылупили шары-то на меня? Ой, да чтоб вас разорвало на кусочки...

Это еще более развеселило публику. Солдата начали тыкать пальцами, дергать за рубаху, за фартук, играя с ним, точно с козлом, и так травили его до обеда. А после обеда кто-то надел на ручку деревянной ложки кусок выжатого лимона и привязал за спиной солдата к тесемкам его фартука;

солдат идет, ложка болтается сзади, все хохочут, а он суетится, как пойманный мышонок,—не понимает, что вызывает смех. Повар следил за ним молча, серьезно, лицо у него сделалось бабьим.

Алеше стало жалко солдата, он спросил повара:

— Можно сказать ему про ложку?

Тот молча кивнул головой.

Алеша подошел к солдату и объяснил ему, над чем смеются. Солдат быстро нащупал ложку, оторвал ее, бросил на пол, раздавил ногой и вдруг вцепился обеими руками в волосы Алеши. Он решил, что это и есть виновник его позора. Алеша отбивался, а публика, обрадовавшись новому развлечению, неистово хохотала.

Тогда явился повар и, расталкивая людей своим животом, закричал страшно:

— Пошел прочь, дурак!

Он называл дураком многих сразу,—подойдет к целой куче людей и кричит на них:

— По местам, дурак!

Это было тоже смешно, однако казалось верным: все хохотавшие люди были словно один большой дурак.

Расшвыряв зрителей, повар рознял дерущихся и, натрепав уши сначала Алеше, схватил за ухо солдата. Когда публика увидела, как этот маленький человек трясет головой и танцует под рукой повара, она неистово заорала, засвистала, затопала ногами, раскалываясь от хохота.

— Ура, гарнизон! Дай повару головой в брюхо!

Повар выпустил солдата и, спрятав руки за спи-

ну, пошел на публику кабаном, ощетинившись, страшно оскалив зубы.

— По местам—марш! Аз-зиаты...

Как только повар выпустил солдата, тот снова бросился на Алешу, и опять заварилась каша.

Прибежали матросы, боцман, помощник капитана, снова собралась толпа людей. Враги Алеши указывали на него, как на главного виновника происшествия. Повар же, чтобы охладить солдата, снес его на отвод и начал качать воду, поливая его голову и повертывая его всего, точно куклу из тряпок.

— Всё едино,—вдруг сказал солдат тонко и высоко,—убью мальчишку!

Повар всплеснул руками и сказал:

— Что же с тобой делать?

А солдат с мокрой головою сидел на палубе, курносое лицо его дрожало, как студень, рот устало открылся, губы прыгали. Он мычал, оглядывая опять обступивших зевак:

— Мучители... му-учители...

Алеша взобрался повыше, чтобы рассмотреть лица людей—люди улыбались, хихикали, говорили друг другу:

— Гляди, гляди...

Эта злобная радость стада людей возбуждала у Алеши желание броситься на них и колотить по грязным башкам поленом.

Снова разогнав публику, повар поднял солдата и отвел его в каюту.

— Ляг и спи! Ты что такое, а?

Солдат молча сел на койку.

— Он тебе есть принесет и водки,—сказал повар, указывая на Алешу,—пьешь водку?

— Немножко пью...

— Ты смотри, не трогай его,—продолжал повар,—это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю—не он...

— А зачем меня мучили?—тихонько спросил солдат.

Повар не сразу и угрюмо отозвался:

— Ну, а я знаю?

Идя с Алешей в кухню, он бормотал:

— Н-на... действительно, привязались к убогому! Видишь, как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут... Привяжутся, как клопы, и—шабаш!

Потом посмотрел внимательно на Алешу и заговорил снова:

— Пропадешь ты, жалко мне тебя, кутенок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы... даже на колени бы встал и спросил: что ж вы делаете, такие сякие, а? Что вы, слепые? Верблюды...

И оттолкнув Алешу, прибавил угрюмо:

— Не место тебе здесь! На, покури...

Алеша и сам, чем больше узнавал людей, тем больше думал: почему буфетная прислуга так злобствует на него и друг на друга, почему пассажиры или—озорники, или—такие смирные, что позволяют над собой издеваться? Ему часто говорили:

— Положено господом богом терпеть, и терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба...

Эти слова было скучно слушать. Алеша не хотел терпеть бессмысленной жестокости в людях, не хотел терпеть злого, несправедливого, обидного

отношения к себе. Он не заслужил его. И солдат не заслужил. Для чего же это?

С такими вопросами он подходил к своему учителю-повару.

Тот, окружая лицо свое дымом папиросы, говорил нередко с досадой:

— Эх, что тебя щекочет! Люди, ну и люди... Один—умный, другой—дурак. Ты читай книжки, а не бормочи. В книжках, когда они правильные, должно быть все сказано...

И, махнув рукой, сказал:

— Эх, как бы надо учить тебя! Будь я богатый, погнал бы я тебя учиться! Не место тебе здесь...

Алеша и сам чувствовал, что—не место. Жить ему становилось все хуже. Официанты таскали с его стола посуду и продавали пассажирам.

Не раз Алеше хотелось, смотря на плывущие мимо берега, убежать с парохода на первой же пристани, уйти в лес. Но удерживал добрый учитель-повар—он относился к нему все ласковее; да еще нравилось Алеше непрерывное движение парохода. Он все ждал, что поплывет пароход по другим путям, из Камы в Белую, в Вятку, а то—по Волге, и он увидит новые берега, города, новых людей.

Но этого не случилось. Жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для него. Буфетчик заметил пропажу посуды, несправедливо обвинил Алешу в воровстве и не слушал защиты повара.

— Эх,—горько крякнул повар и легонько щелкнул Алешу пальцем в темя.—Дурак! И я дурак! Мне надо было следить за тобой, да учить...

В Нижнем буфетчик рассчитал Алешу. Он полу-

чил около восьми рублей—первые крупные деньги, заработанные им.

Повар, прощаясь с Алешей на пристани, угрюмо говорил:

— Н-ну, вот!.. Теперь понял, как жить? Теперь гляди в оба,—понимаешь? Рот разевать нельзя...

Он сунул в руку Алеши бисерный кисет.

— На-ка, вот тебе! Это хорошее рукоделие, это мне крестница вышила... Ну, прощай! Читай книги—это самое лучшее!

Он взял Алешу подмышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Алеше было жалко и его, и себя. Он едва не заревел, глядя, как повар возвращается на пароход, расталкивая крючников,—большой, тяжелый, одинокий...

И еще подумал Алеша, что за время жизни на пароходе он много увидел и пережил, постарел и поумнел, что—несмотря на все обиды и несправедливости,—как интересно, как хорошо, как славно жить, если встречаешь таких добрых людей...

У ЧЕРТЕЖНИКА

Алеша снова явился к деду. Он пришел настроенный сердито и воинственно, на сердце было тяжело,—за что его сочли вором?

Бабушка встретила Алешу ласково и тотчас ушла ставить самовар; дед насмешливо, как всегда, спросил:

— Много ли золота накопил?

— Сколько есть—все мое,—ответил Алеша.

Садясь у окна, Алеша торжественно вытащил из кармана коробку папирос и важно закурил.

— Та-ак,—сказал дед, навострившись.—Вот оно что? Чортово зелье куришь? Не рано ли?

— Мне вот даже кисет подарили,—похвастался Алеша.

— Кисет!—завизжал дед.—Да ты что, дразнишь меня?

Он бросился к Алеше, вытянув тонкие, крепкие руки, сверкая зелеными глазами. Алеша вскочил и ткнул его головой в живот,—старик сел на пол и несколько секунд смотрел на Алешу, изумленно мигая и открыв рот. Потом спокойно спросил:

— Это ты меня толкнул, деда? Матери твоей родного отца?

Но Алеша уже и сам понял, что сделал отвратительно.

— Довольно уже вы меня били,—пробормотал он в замешательстве.

Дед, сухонький и легкий, вскочил с пола, ловко вырвал у Алеши папироску и бросил ее за окно.

— Дикая башка!—заговорил он испуганным голосом,—понимаешь ли ты, что это тебе никогда богом не простится, во всю твою жизнь?

— Мать,—обратился он к бабушке,—ты гляди-ка, он меня ударил ведь! Он! Ударил. Спроси-ка его!

Бабушка не стала спрашивать, а просто подошла к Алеше и схватила за волосы. Она трепала его и приговаривала:

— А за это вот как его! Вот как!..

Было не больно, но обидно, и особенно обижал

Алешу ехидный смех деда,—дед подпрыгивал на стуле, хлопал себя ладонями по коленам и каркал сквозь смех:

— Та-ак, та-ак...

Наконец Алеша вырвался, выскочил в сени и лег там в углу. Плакать он не плакал, хоть было нестерпимо обидно. Но подошла бабушка, наклонилась над ним и чуть слышно шепнула:

— Ты меня прости, ведь я не больно потрепала тебя, я ведь нарочно! Иначе нельзя,—дедушка-то старик, его надо уважать, у него тоже косточки надломаны, ведь он тоже горя хлебнул полным сердцем,—обижать его не надо. Ты не маленький, ты поймешь это... Надо понимать, Олёша! Он тот же ребенок, не более того...

Слова ее омывали Алешу, точно горячей водой. От этого дружеского шопота ему становилось и стыдно, и легко, он крепко обнял бабушку, они поцеловались.

— Люблю я тебя очень, бабушка,—от всей души сказал Алеша.

— Родной потому что,—объяснила она,—а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят...

Потом сказала:

— Иди к нему, иди, ничего! Только не кури при нем сразу-то, дай привыкнуть...

Алеша вошел в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха: дед действительно был доволен, как ребенок, весь сиял, сучил ногами и колотил лапками в рыжей шерсти по столу.

— Что, козел? Опять бодаться пришел? Ах, ты, разбойник! Весь в отца! Фармазон, вошел в дом—

не перекрестился, сейчас табак курить, ах, ты, Бонапарт, цена-копейка!

Алеша молчал. Дед, излив свое торжество, заговорил серьезно:

— Ну, Лексей, за то, что место себе нашел да денег прикопил—молодец! А вот я тебя скоро сам тоже на хорошее место поставлю.

— Куда еще?—недовольно спросила бабушка.

— К тетке Матрене, к сыну ее...

— Ох, отец, худо ты всё выдумываешь!..

— Молчи!—сказал дед,—чертежником он будет.

Дом, в который отвели Алешу, находился на окраине города. Дом был новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. В подвалах и кухнях жили прачки, кухарки, денщики, землекопы. В квартирах—офицеры, лавочники, ремесленники. И все это копошилось и суетилось, напоминая муравейник.

Перед домом был овраг, в него сваливали мусор с дворов, и на дне его всегда стояла лужа густой темнозеленой грязи. Место было до-нельзя скучное, нахально-грязное. После реки, простора и зеленых берегов, этот угол города возбуждал у Алеши злую тоску. Было противно видеть так много грязи в одном месте. Хозяева Алеши были люди странные и смешные. Хозяин-чертежник, длинноволосый, с голубыми глазами, добряк и рохля, чертил целый день, согнувшись над столом. А две хозяйки,—мать чертежника, старуха, и жена его—

ругались целыми днями. С утра, обе нечесанные, расстегнутые, метались из комнаты в комнату и постоянно ссорились. Что бы ни изготовила старшая, младшая непременно говорила:

— А моя мамаша делает это не так.

— Не так, значит, хуже!

— Нет, лучше!

— Ну, и ступай к своей мамаше.

— Я здесь—хозяйка!

— А я кто?

Вмешивался хозяин:

— Довольно, звери-курицы! Что, вы с ума сошли?

Но старуха, выбежав в другую комнату, уже высовывала из-за двери злое лицо и кричала:

— Дворянка с Гребешка, умишка ни вершка!

А молодая валилась на стул и стонала:

— Умру! Умру!

— Не мешайте мне работать, чорт вас возьми!—орал хозяин, бледный с натуги.—Сумасшедший дом! Ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы...

Намучившись таким образом, все садились обедать, пили и ели много, до опьянения, до усталости и за обедом лениво переругивались, готовясь к новой ссоре. Глупость женщин была невообразима. Живя в своих комнатушках, ничего не видя, не зная, они удивлялись каждому пустяку. Иногда они звали Алешу и заставляли его рассказывать о жизни на пароходе. При этом они спрашивали:

— А все-таки, поди-ка, боязно?

Алеша не понимал,—чего?

— А вдруг он свернет на глубокое место, да и потонет!

Хозяин хохочет. Алеша, хотя и знает, что пароходы не тонут на глубоких местах, не может убедить в этом женщин. Старуха была уверена, что пароход не плавает по воде, а идет, упираясь колесами в дно реки, как телега по земле.

— Коли он железный, как же он плывет? Небось, топор не плавает...

— А ковш, ведь, не тонет в воде?

— Сравнил! Ковш—маленький, пустой...

Хозяева жили, как заколдованные: пили, ели, болели от обильной еды, спали и говорили всё об одном и том же. На Алешу все это наводило отупляющую тоску. Чтобы побороть ее, Алеша старался как можно больше работать. Недостатка в работе, впрочем, не было. Он возился с детьми, мыл пеленки, полоскал на речке белье, по средам мыл пол на кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи и ходил с хозяйкой по базару, таская за ней корзину.

Спал Алеша в кухне, у дверей на парадное крыльцо; голове его было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, он собирал все половики и складывал их в ноги себе.

Работал Алеша охотно,—ему нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей; но хозяйкам все казалось мало. То и дело они шипели:

— Тащи самовар! Подотри здесь! Снеси это! Беги в лавку...

И обе старались наперебой воспитать в нем почтение к ним, но Алеша считал их полоумными и, делая свое дело, не спускал им брани.

Они жаловались хозяину на дерзости, а хозяин строго говорил Алеше:

— Ты, брат, смотри у меня!

Но однажды он равнодушно сказал жене и матери:

— Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мерине,—другой бы давно убежал, али издох от такой работы...

Это неожиданное замечание привело женщин в неописуемую ярость. Топая ногами, они кричали:

— Да разве можно при нем так говорить, дурак ты длинноволосый! Что же мы для него после этих слов?

Когда они ушли, плача и воя, хозяин строго сказал Алеше:

— Видишь, чортушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к дедушке, и будешь снова тряпичником!

Не стерпев обиды, Алеша сказал:

— Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить...

Хозяин взял Алешу за волосы, без боли, осторожно и, заглядывая ему в глаза, сказал удивленно:

— Однако, ты ерш! Это, брат, мне не годится, не-ет...

Алеша думал, что его прогонят, но случилось не так. Через день хозяин пришел на кухню. В ру-

ках у него была трубка толстой бумаги, карандаш, угольник и линейка. Он сказал Алеше:

— Кончишь чистить ножи, нарисуй вот это!

На листе бумаги был изображен двухэтажный дом со множеством окон и лепных украшений.

— Вот тебе циркуль!—говорил хозяин.—Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль—это будут горизонтальные, потом поперек—это вертикальные. Валяй!

Алеша обрадовался чистой работе и началу учения. На бумагу и инструменты он смотрел со страхом и благоговением, ничего не понимая.

Однако тотчас же вымыл руки и сел за стол. Провел на листе все горизонтальные, смерил—хорошо! Хотя три оказались лишними. Провел все вертикальные—и с изумлением увидал, что лицо дома нелепо исказилось. Окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе, по соседству с домом. Парадное крыльцо поднялось на второй этаж, карниз очутился посредине крыши, слуховое окно—на трубе.

Алеша долго и со слезами смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаясь понять, как они совершились. Потом решил кое-как исправить дело. Нарисовал на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьев, а на земле перед окном—людей под зонтиками. Затем исчертил все это наискось полосками и отнес работу учителю.

Тот высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился:

— Это что же такое?

— Дождик идет,—объяснил Алеша.—При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам кривой всегда. Птицы—вот это все птицы—спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это—люди бегут домой, вот барыня упала, а это разносчик с лимонами...

— Покорно благодарю,—сказал хозяин и вдруг захохотал и закричал:—Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей!

Пришла хозяйка, посмотрела и сказала мужу:

— Ты его выпори!

Но хозяин заметил:

— Ничего, я сам начинал не лучше...

Дал еще бумаги и сказал:

— Валяй еще раз! Будешь чертить это, пока не добьешься толку...

И когда Алеша сделал исправную копию, хозяину очень понравилось.

— Вот, видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдем скоро и до настоящего дела...

И задал ему урок:

— Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду,—делай сам!

Алеша пошел в кухню и задумался: с чего начать?

Но на этом дело и кончилось. Подошла старуха-хозяйка и зловеще спросила:—Чертить хочешь?

Схватив Алешу за волосы, она оттащила его от стола, разорвала чертеж и отшвырнула инструменты.

Прибежал хозяин, приплыла его жена и начали все друг на друга кричать, плеваться и выть, а

когда всё кончилось, и бабы разошлись плакать, хозяин сказал Алеше:

— Ты покуда брось все это, не учись—сам видишь, вон что выходит!

ЗАВОЕВАНИЕ КНИГИ.

И снова началась для Алеши бесконечная работа под градом попреков и жалоб. Иногда Алеше думалось: надо убежать. Но стояла окаянная зима, по ночам выли вьюги, на чердаке возился ветер, трещали стропила, сжатые морозом—куда убежишь?

Гулять Алешу не пускали, да и некогда было гулять. Но в церковь он должен был ходить. По субботам—ко всенощной, по праздникам—к обедне. Молиться он не молился, но сочинял стихи о своей невеселой жизни:

Господи, господи — скушно мне!
Хоть бы уж скорее вырасти!
А то — жить терпенья нет,
хоть удавись, — господи прости!
Из ученья — не выходит толку,
чортова кукла, бабушка Матрена
рычит на меня волком,
и жить мне — очень солоно!

Впрочем, Алеша стоял в церкви только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу. Тихими ночами Алеше больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Там можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замерзли и не занавешены были изнутри. Много разных картин

показали ему эти окна—он видел, как люди смеются, плачут, молятся, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют. Перед Алешей, точно в панораме за копейку, тянулась немая рыбья жизнь.

И всё упорнее хотелось ему знать, что за люди вокруг и как они живут, и неужели же все они такие скучные и нудные, как его хозяева?

Одним вечером наткнулся Алеша на одноэтажный, приземистый дом. Из квадратной форточки окна вместе с теплым паром струился на улицу необыкновенный звук, точно кто-то, очень сильный и добрый, пел, закрыв рот. Алеша сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке чудесной силы. Слушать ее было почти больно. Была оттепель, капало с крыши, из глаз Алеши тоже закапали слезы.

Незаметно подошел ночной сторож и столкнул его с тумбы, спрашивая:

— Ты чего тут торчишь?

— Музыка,—объяснил Алеша.

— Мало ли что! Пошел...

Алеша быстро обежал кругом квартала, снова воротился под окно, но в доме уже не играли, и все было тихо.

Увлеченный впечатлениями во время своих прогулок, Алеша часто опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали его:

— В какой церкви был? Какой поп служил?

Они знали всех попов города, знали, когда какое евангелие читают: знали всё,—им было легко уличить Алешу во лжи. Но Алеша все меньше обращал внимания на эту скучную ругню, особен-

но после одного случая, который пробудил у него новую страсть.

Однажды, сбегая по черной лестнице, он услышал детский плач. Маленькая девочка стояла на лестнице и плакала, не зная дороги. Алеша узнал в ней дочь одной дамы из нижней квартиры. Кухарка ушла, оставив открытой дверь, и девочка, выйдя на незнакомую лестницу, заблудилась. Алеша отвел ребенка домой. Мать девочки, красивая, высокая дама, увидев ее с Алешей, удивилась, но узнав, в чем дело, посмотрела на него пристально, прищурив глаза.

— Ну, спасибо!—сказала она густым приятным голосом.—Что тебе подарить?

Алеша сказал, что ему ничего не надо дарить, а не даст ли она какую-нибудь книжку почитать.

Дама усмехнулась и дала ему со стола одну из книжек.

— А руки ты плохо моешь...—сказала она, поморщившись.

«Ну, этого она могла бы и не говорить,—думал Алеша, уходя.—Если бы она чистила медь, мыла полы и стирала пеленки, и у нее руки были бы не лучше моих».

Он спрятал книгу на чердаке, а в субботу, развешивая белье, вспомнил о ней, достал и прочитал начальную строку:

«Дома—как люди: каждый имеет свою физиономию». Это удивило Алешу своей правдой—он стал читать дальше, стоя у слухового окна, и читал, пока не озяб, а вечером, когда хозяева ушли ко

всенощной, снес книгу в кухню и зачитался, забыв все на свете.

Когда же он, наконец, услыхал звонок колокольчика на парадном крыльце, то не сразу понял, кто это звонит и зачем. Из комнаты выскочила нянька.

— Оглох? Звонят!

Алеша заметался по кухне, ища, куда спрятать книгу, наконец, сунул ее в подпечек и бросился отпирать двери.

— Дрых?—сурово спросил хозяин; жена его, тяжело поднимаясь по лестнице, жаловалась, что Алеша ее простудил, а старуха уже от самых дверей снизу ругаться начала. В кухне она сразу увидала зажженную свечу и закричала:

— Вот, глядите, всю свечу сжег и дом сожгет.

Все трое принялись допрашивать Алешу, что он делал. Алеша молчал, точно свалившись откуда-то с высоты, весь разбитый, в страхе, что старуха найдет книгу.

Ужиная, хозяева продолжали пилить его, но Алеша знал, что теперь они делают это уже по привычке и от скуки. И ему было странно видеть, какие они пустые и смешные по сравнению с теми сильными и интересными людьми, о которых он только-что читал в книге.

Наконец, хозяева кончили есть, отяжелели и устало разошлись спать. Вот и старуха, ворчливо помолившись, покряхтев, забралась на печь и примолкла.

Тогда Алеша тихо встал, вынул книгу из подпечка и подошел к окну. Ночь была светлая, луна смотрела прямо в окно, но, сколько ни всматривался Алеша, мелкая печать не давалась зрению. А

читать хотелось мучительно—что делать? Подумав немного, он достал с полки медную кастрюлю, отразил ею свет луны на книгу, но стало еще хуже, темнее.

Тогда Алеша забрался на лавку, в угол, к образам и начал читать, стоя, при свете лампадки. Потом, утомленный, заснул, опустясь на лавку. Проснулся он от крика и толчков старухи. Держа книгу в руках, она больно стучала ею по плечам Алеши, красная от злости, яростно вскидывая рыжей головою, босая, в одной рубахе.

«Пропала книга, изорвут»—тоскливо думал Алеша.

Потом все собрались, ощупывали и оглядывали книгу. Хозяин подозрительно нюхал страницы и говорил:

— Духами пахнет, ей-богу...

И строго допрашивали Алешу, где он взял книгу.

Алеша нашелся и сказал, что книга принадлежит попу.

Все еще раз осмотрели ее, удивляясь и негодуя, что священник читает романы, но все-таки это успокоило их, и—книга была спасена! Зато теперь приходилось беречься.

Во дворе жил солдат Сидоров, денщик, тощий и костлявый, всегда печальный и говоривший тихим голосом. Алеша был с ним в приятельских отношениях. Он отнес книгу Сидорову, рассказал ему, в чем дело. Солдат взял книгу, молча открыл маленький сундучок, вынул чистое полотенце и, завернув в него роман, спрятал в сундук, сказав Алеше:

— Не слушайся их,—приходи ко мне и читай, я никому не скажу. А если придешь, нет меня,— ключ висит за образом, отопри сундук и читай...

Но старуха, подозревая что-то, стала зорко следить, чтобы Алеша не бегал к денщику. А Алеша побаивался, чтобы у солдата не пропала книга или чтобы он как-нибудь ее не испортил.

В конце концов пришлось снести ее квартирантке и постараться не думать о таких хороших и дорогих книгах.

Алеша стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю. За прочтение каждой книжки нужно было платить копейку.

Он читал в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда книга очень сильно тянула к себе, он вставал ночью, зажигал свечу, но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умаляются, стала измерять их лучинкой, и мерку куда-то прятала. Если утром в свече недоставало вершка, тогда в кухне поднимался яростный крик. Алеша всячески ухитрялся читать, а старуха выслеживала его и, когда это ей удавалось, уничтожала книги.

В одно из воскресений, когда все ушли к ранней обедне, Алеша поставил по приказу хозяев самовар и отправился убирать комнаты. В это время старший ребенок забрался в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и когда вода вытекла из него, он распаялся.

Алеша еще в комнате услыхал, что самовар гудит неестественно гневно, а войдя в кухню, с ужа-

сом увидал, что он весь посинел и трясется, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, из-под ручек стекали капли олова,—лилово-синий самовар казался вдребезги пьяным. Алеша облил его водой, самовар зашипел и печально развалился на полу.

В ту же минуту позвонили на парадном крыльце. Алеша отпер двери и на вопрос старухи, готов ли самовар, кратко ответил:

— Готов.

Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и удвоило наказание.

Алешу избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины. Это было не очень больно, но оставило под кожею спины множество глубоких заноз. К вечеру спина у Алеши вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принужден был отвезти его в больницу.

Доктор осмотрел Алешу и сказал спокойно, глухим басом:

— Здесь нужно составить протокол об истязании.

Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал:

— Не могу. Нельзя.

Потом обратился к Алеше:

— Жаловаться хочешь?

Алеше было больно, но он сказал:

— Не хочу, лечите скорее...

Его отвели в другую комнату, положили на стол, доктор вытаскивал занозы щипчиками и балагурил:

— Превосходно отделали кожу тебе, приятель, теперь ты станешь непромокаемый...

Кончив работу, он сказал:

— Сорок две щепочки вытащено, приятель: запомни, хвастаться будешь! Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?

Алеша подумал и ответил:

— Раньше—чаще били...

Доктор захохотал басом.

— Все к лучшему идет, приятель, все!

Доктор вывел Алешу к хозяину и сказал ему:

— Извольте получить, починен! На ваше счастье, комик он у вас...

Сидя на извозчике, хозяин говорил Алеше:

— И меня, Пешков, тоже били—что поделаешь? Били, брат! Тебя все-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было, некому! Людей везде—теснота, а пожалеть нет ни одного сукина сына! Эх, звери-курицы...

Дома Алешу встретили, как именинника. Женщины заставили его подробно рассказать, как доктор лечил, что он говорил—слушали и ахали.

Алеша видел, как они довольны тем, что он отказался жаловаться на них. Он воспользовался этим и испросил разрешения беспрепятственно читать книги в свободное от работы время.

Застигнутые врасплох, они не решились отказать ему, только старуха удивленно воскликнула:

— Ну и бес!

Да хозяин, добродушно усмехаясь, сказал:

— Настойчив ты, Пешков, чорт тебя возьми! Что из тебя выйдет, и не догадаешься даже...

Хозяева выписывали иллюстрированный журнал, но не читали его. Посмотрев картинки, журнал складывали на шкаф в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома больших книг: «Живописное обозрение». Когда Алеша мыл пол в спальне, под эти книги подтекала грязная вода.

Теперь Алеша завоевал себе право брать журналы в кухню и получил возможность читать ночами. Но огня ему не давали, свечку уносили в комнаты, а денег на покупку свечей у него не было. Тогда он стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывая его в жестянку из-под сардин, подливая туда лампадного масла, и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь.

Когда Алеша перевертывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть, светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза, но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым он рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним.

Эти иллюстрации раздвигали перед Алешей мир все шире и шире. Уводя его из душных мещанских комнат, они показывали ему сказочные города, высокие горы, красивые берега морей.

Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее.

И за всем этим Алеша видел проблеск какой-то иной жизни и иных отношений. Из романов было ясно, что за границею извозчики, рабочие, солдаты и весь «черный народ» не такой, как в Нижнем, в Казани, в Перми: он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо. Вот солдат, но он не похож ни на забитого Сидорова, ни на вятича с парохода. Вот—лавочник, но и он лучше всех известных Алеше лавочников. И священники в книгах не так грубы, они словно сердечнее и участливее относятся к людям. Вообще вся жизнь за границей, как рассказывали о ней книги, казалась Алеше интереснее, легче той жизни, которую он знал: там не дрались так часто и зверски, не издевались так мучительно над человеком, как издевались над вятским солдатом, не жили так темно и убого, как жили рабочие люди в Кунавинской слободе.

Дом, в котором жил чертежник, принадлежал подрядчику землекопных и мостовых работ. Остробородый, сероглазый, он был всегда зол, груб и как-то особенно спокойно жесток. У него было человек тридцать рабочих. Жили они в темном подвале с цементным полом и маленькими окнами ниже уровня земли. Вечерами, измученные работой, поужинав щами из квашеной вонючей капусты, землекопы выползали на грязный двор—в сыром подвале было душно и всегда угарно от огромной печи. Подрядчик появлялся в окне своей комнаты и орал:

— Эй вы, дьяволы, опять во двор выползли? Развалились, свиньи! У меня в дому хорошие люди живут, али им приятно глядеть на вас!

И рабочие покорно уходили в подвал.

В воскресные дни подрядчик выходил на крыльцо и садился на ступеньки с длинной узкой книжкой в одной руке, с обломком карандаша в другой; к нему гуськом, один за другим, подходили землекопы, точно нищие. Они говорили пониженным голосом, кланялись и почесывались, а подрядчик орал на весь двор:

— Ладно, будет! Бери целковый! Чего? А в морду хочешь? Хватит с вас! Иди прочь... Но!

И рабочий отходил как пришибленный.

Все это были люди печальные, они редко смеялись, почти никогда не пели песен, говорили кратко и неохотно. Всегда выпачканные землей, они казались Алеше покойниками, которых воскресили против их воли для того, чтобы мучить целую жизнь.

«Хорошие люди»,—офицеры, пьяницы и картежники, били денщиков до крови, денщики дрались с землекопами, и все пили, пили помногу, на смерть.

ОПАСНАЯ ПЕРЕПРАВА

Накануне пасхи Алеша сбежал. Сбежал он с плотничьей артелью, староста которой, Осип, чистенький и складный мужичок, весело прикрикивал на плотников:

— Шевелись поживей, курицыны дети!

Работа была кончена во-время. После долгой отлучки плотники возвращались из слободы в город. Впереди были встречи с семьей, баня и затем праздничные удовольствия. Плотники шли быстро и весело, переговариваясь на ходу. Нужно

было спешить потому, что река, отделявшая город от слободы, могла двинуться каждый час, а это угрожало отрезать усталых работников от дома. Уже там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые вешки, обозначая дороги, полыньи и трещины на льду.

Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже не пускала на реку лошадей, и только на линейках мостков виднелись редкие пешеходы, и слышно было, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде.

— Чу, будто трешшит?—нерешительно сказал плотник Мишук, мигая белыми ресницами.

Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его:

— Это стружка в башке у тебя сохнет, скрипит! Шевелись, знай!

Плотники сошли на берег и зашагали по льду.

Вдруг откуда-то с городского берега невидимый голос радостно завыл:

— По-оше-ол... о-го-го-о!

В ту же минуту над рекой потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе. Матросы, работавшие на льду, шумно полезли по веревочным трапам на борта баржи. Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с горою тихо всплывает вверх по реке.

— Беги обратно,—крикнул Осип, толкнув Алешу,—чего разинул рот?

Алеша почувствовал, что лед уходит из-под ног; а ноги как-то сами собой вскинулись и понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка и валя-

лись старые доски, брошенные матросами. Бежали и плотники, сердито ругаясь. Сзади всех Осип, покрикивая:

— Не лайтесь, ребята!

— Да ведь как же, дядя Осип...

— Так же всё, как было.

— Застряли мы тут суток на двое...

— И посидишь...

— А праздник?

— Без тебя отпразднуют в этом году...

Лица плотников сделались сумрачными и тоскливыми.

Прошло несколько минут.

Потом Осип встал, поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал:

— Встала... Только это ненадолго...

— Отрезала нас от праздника,—угрюмо проговорил Мишук.

Все продолжали сидеть понуро.

— Встала,—повторил Осип задумчиво.

— М-да...

На том берегу что-то орали матросы, а с реки веяло холодом и злою, подстерегающей тишиной.

Кто-то из молодых парней спросил, тихонько и робко:

— Дядя Осип—как же?

— Чего?—дремотно отозвался он.

— Так нам и сидеть тут?

Осип не ответил,—казалось, он спал.

Плотники стали ссориться и попрекать друг друга. Потом уставились сердитыми и грустными глазами на видневшийся город и замолчали. Замерли.

Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно:

— Ну-ко-сь, ребята, айда с богом...

— В город?—воскликнул Мишук, вскакивая.

Другой плотник, не двигаясь, уверенно заявил:

— Потонем!

— Тогда—оставайся.

И оглянув всех, Осип крикнул:

— Ну, шевелись, живо!

Все поднялись, сбились в кучу. Осип словно помолодел, окреп. Ленивая, развалистая походка его исчезла,—он шагал твердо, уверенно.

— Каждый бери по доске и держи ее поперек себя. В случае,—не дай бог,—провалится кто,—концы доски на лед лягут—поддержка! И трещины переходить... Веревка есть? Готовы?.. Ну,—я вперед, а за мной—кто всех тяжеле? Ты, солдат! Потом—Мокей, Мордвин, Боев, Мишук, Санюк. Олеха всех легче, он—позади... Сымай шапки, молись... Вот и солнышко-батюшко встречу нам...

Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы, солнце глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд.

— Айда!—сухо, новым голосом сказал Осип.—С богом! Глядите на ноги мне. Не напирай в спину, держись друг ко другу не ближе сажня, а чем дале,—то и лучше! Пошел, детки!

Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как-то осторожно и ласково шаркая ногами,

сошел на лед. И тотчас же сзади, на берегу раздался отчаянный крик:

— Ку-уда, бараны!..

— Шагай, не оглядывайсь!—звонко командовал вожатый.

— Наза-ад, дьяволо-ы...

— Айда, ребята!—властно говорил Осип.

Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал:

— Во-от, ерои... Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу... Коли не утопнем—в часть нас, в полицию... Я на себя ответ не беру...

Бодрый голос Осипа вел людей за собой, точно на веревке.

— Гляди под ноги зорче!..

Шли наискось, против течения, и Алеше, заднему, хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За ним гуськом, как бы нанизанные на невидимую нить, тянутся, покачиваясь, шесть темных фигур.

Сзади кричат всё гуще—видимо, сбежался народ большою толпой, слов уже не разобрать, слышен только гул.

Под ногами Алеши синевато-серый, свинцовый лед. Кое-где он лопнул, выгорбился, синие трещины, холодно улыбаясь, ловят ногу.

Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда, когда вверху реки зашуршало зловещим шорохом... В ту же минуту лед поплыл из-под ног у Алеши, он покачнулся и, не устояв, припал на колено, удивленный. Взглянув вверх по реке—

испуг схватил его за горло, лишил голоса, потемнил зрение—серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст—точно кто-то тяжелою ногой шел по битому стеклу.

Мимо с тихим свистом струилась вода, люди орали, сбиваясь кучей, а в глухом, жутком гуле звенел голос Осипа:

— Разойдись!.. расходись—держись порознь!.. Пошла, матушка, пошла-а! Веселей, ребятки! Вот—пошла-а!..

Он прыгнул, словно на него осы напали, и, держа саженный ватерпас, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город.

Лед под Алешей заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги ему хлынула вода,—он вскочил и слепо бросился к Осипу.

— Куда?—замахнувшись ватерпасом, крикнул Осип.—Стой!

Показалось, что это не Осип—лицо странно помолодело, он словно вырос, вырос на поларшина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал широко открыв рот:

— Не крутись, не сбивайся кучей—башки поразобью!

И снова замахнулся на Алешу ватерпасом:

— Ты куда?

— Потонем,—тихонько сказал Алеша.

— Цыц! Молчи...

Но, оглянув его, он прибавил тише и мягче:

— Потонуть и дурак сумеет, а ты вот выберись... Ты—вылезь!

И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову.

Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь. Людей медленно сносило мимо города. Семь темных фигур качались, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, и немолчно звучал властный голос Осипа:

— Не зева-ай!..

Первым провалился под лед Мокей.

Он шел впереди Мордвина, шел спокойнее всех, и вдруг—точно его дернули за ноги—исчез, на льду осталось только его голова и руки, вцепившиеся в доску.

— Помогай!—завыл Осип.—Не толпись все один, двое—помоги!

А Мокей, отфыркиваясь, говорил Мордвину и Алеше:

— Отойдите, парни... я сам... ничего...

Выбрался на лед и, отряхаясь, сказал:

— Пострели те горой, эдак-то, гляди, и в сам деле потопнешь...

За ним выкупался Боев—казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово:

— А, б-батюшки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь!...

Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом, и в хлопотах около него едва не погиб Мордвин, окунувшись с головою в воду.

— Вот, попал бы к чертям ко всенощной,—сказал он, выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь.

На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, синие острые зубы хватали ноги; казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат.

Но Осип словно заранее сосчитал трещины во льду, скакал зайцем со льдины на льдину: перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит:

— Гляди, как надо, эй!

Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги товарищей большие прочные льдины.

Однако, чем ближе к берегу, тем лед становился мельче, и все чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, грозило вынести людей на Волгу, а там лед еще не тронулся, и всех подтянуло бы под него.

— Пожалуй, потонем,—тихо сказал Мордвин Алеше, поглядывая налево в синюю муть вечера.

Но вдруг, точно пожалев смельчаков, огромная льдина уперлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя, и—встала.

— Беги-и!—яростно закричал Осип.—Валяй во всю мочь!..

Прыгнул на чку, упал и, сидя на краю льдины, заплескиваемый водою, пропустил всех мимо себя—пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и Алеша остановились, желая помочь Осипу.

— Бегите, щенки свинячьи, ну!..

Лицо у Осипа было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся.

— Вставай, дядя...

Он опустил голову.

— Ногу я сломал, будто... не встать...

Мордвин и Алеша подняли его и понесли, а он, закинув руки на шеи им, ворчал, щелкая зубами:

— Утопнете, лешманы... Глядите—троих не сдержит, шагай осторожно! Выбирай, где лед снегом не покрыт, там он тверже.. бросить бы вам меня!..

Когда они сошли с куска льдины на берег, вся часть льда, лежащая на воде, хрустнула и, покачиваясь, захлебываясь, поплыла.

— Ишь ты—одобрительно сказал Мордвин,—поняла дело!

Мокрые, иззябшие и веселые, плотники столпились на берегу среди слободских мещан. Осипа положили на какие-то бревна.

С горы шел серый околоточный и двое черных полицейских.

— Ах, ты господи!—стонал Осип, тихонько поглаживая колено.

Мещане, завидя полицию, раздвинулись, а околоточный подошел к плотникам, строго говоря:

— Это вы, дьяволы...

Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил:

— Это я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите праздников великих ради, ваше благородие...

— Как же ты, старый чорт!..—закричал около-

точный, но его крик пропал, потонул в быстром потоке умиленных, ласковых слов Осипа:

— Квартера у нас здесь, в городу; на том берегу ничего у нас нет, а послезавтрея, ваше благородие, праздник,—в баньку надобно, на церковную службу... Я и говорю: айдате, ребята, что бог даст, не по худому делу пойдем, и за продерзость наказан я, вот—ноженьку разбил вовсе...

— Да!—сурово крикнул околоточный.—Ну, а если б вы утопли,—что тогда было бы?

Осип глубоко и устало передохнул:

— Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините...

Полицейский ругался, потом, переписав имена всех, ушел.

Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг, поднявшись на ноги, истово перекрестился.

— Вот и конец всему, слава тебе господи!

— Стало быть,—закричали все изумленно,—нога-то цела? Не сломал, значит?

— А вам надо, чтобы сломать?

— Ай-да, дядя Осип!

— Пошли, ребята!—скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку.

Алеша шел рядом с ним сзади всех.

— Ловко я полицию-то обошел!—говорил ему Осип.—А ведь быть бы всем в части, клопам на корм... Нет, паренек, без хитрости не проживешь...

Они шли навстречу колокольному звону на горе; журчали ручьи, сбегаясь под ноги, на душе у Алеши было просто и легко. Рядом с Осипом он

готов был итти всюду, куда надобно—хоть снова через реку по льду, ускользающему из-под ног.

Гудели колокола, и радостно думал Алеша:

«Еще сколько раз я встречу весну!..»

В КАЗАНЬ — УЧИТЬСЯ!

Расставшись с плотниками, Алеша стал бродить по городу в поисках заработка. Нашел работу в пивном складе, перекатывал в сыром подвале бочки, мыл и купорил бутылки. Потом наняли его развозить баварский квас по лавкам и по квартирам.

Алеше было уже пятнадцать лет. Жизнь его складывалось путанно и трудно. Что он будет делать дальше? Кто поможет ему разобраться во всем, что он пережил, перечитал, о чем беспокойно думалось? «Надобно что-нибудь делать с собой, а то пропаду»,—думал Алеша. Не зная, куда деться, Алеша дошел до того, что решил было снова поступить на пароход и, спустившись по Волге в Астрахань, бежать в Персию. Почему в Персию, Алеша сам не знал. Ему нравились персияне-купцы, которых он видел на ярмарке: бороды крашеные, а глаза темные, большие, всезнающие.

Но дело обернулось иначе. Однажды когда он с книгой сидел у своей тележки, у ворот одного дома, ждал денег за квас, из дому вышел юноша, краснощекий гимназист. Увидав торговца квасом, читающего книгу, он живо заинтересовался, а когда узнал, что Алеша все свободное время отдает чтению, он пришел в совершенный восторг.

— Вам нужно учиться!—воскликнул он, тряся Алешу за плечо.

Слово за слово, он развернул перед Алешей план действий: Алеша едет в Казань, за осень и зиму проходит курс гимназии, сдает экзамен и через пять лет становится ученым.

— Наука нуждается в таких людях, как вы. Вы созданы природой для служения науке,—говорил гимназист, красиво встряхивая гривой длинных волос.

И тут же привел несколько примеров того, как простые рабочие становились знаменитыми учеными.

Дело было решено. Сдав свои экзамены, гимназист уехал, а недели через три отправился и Алеша вслед за ним.

Провожая его, бабушка говорила:

— Ты не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал! Это—от деда у тебя, а—что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик... Прощай, ну...

И отирая с дряблых, бурых щек скупые слезы, она сказала:

— Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я—помру...

И Алеша вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встретит такого сердечного, близкого человека, каким ему с детства была бабушка.

Он стоял на корме парохода и долго смотрел, как она там, у борта пристани, крестилась одной рукой, а другой—концом старенькой шали отирала свои глаза.

В Казань-то Алеша приехал, но вышло не так, как тайно надеялся он и как уверял его приятель.

Мать гимназиста содержала семью на нищенскую пенсию чиновника.

Бедная вдова изворачивалась, как только могла, и Алеша, не привыкший есть чужой хлеб, увидел, что ему здесь не место. С утра он уходил из дома, чтобы не обедать, а в дурную погоду отсиживался в пустыре, в подвале большого, разрушенного дома. В этом подвале жили и умирали бездомные собаки.

«Вот так университет»,—думал Алеша под шум ливня и вздохи ветра. А уж он было мечтал увидеть себя знаменитым человеком, ученым, который придумал бы немало благодеяний для земли.

Пришлось снова искать работы. Пока тянулась осень, Алеша ходил на Волгу к пристаням. Работая грузчиком, он легко добывал пятнадцать—двадцать копеек в день, но не всегда случалась работа, а с наступлением зимы стало и совсем скверно.

КРЕНДЕЛЬЩИК

Играл ветер поземок, вздымая по улицам сухой серый снег, когда Алеша в отчаянии пошел на новые поиски работы. На одном из дворов, где помещалась пекарня, он увидал странное зрелище. Среди мутящихся по двору клочьев сена и обрывков мочала стоял круглый пухлый человек в одной рубахе и в резиновых галошах на босую ногу. Сложив руки на вздутом животе, он быстро вертел короткие большие пальцы,—один вокруг другого, и смотрел на Алешу маленькими разноцветными глазами. Правый был зеленый, а левый—серый.

— Ступай, ступай,—заговорил он высоким голосом,—нет работы! Какая зимой работа?

Безобразная внешность человека возбудила у Алеши любопытство.

— Ты—дворник, что ли?—спросил он.

— Иди, знай, это не твое дело...

— А нельзя мне повидать самого хозяина?

Вздохнув и внимательно присматриваясь зеленым глазом, человек сказал:

— Это я самый и есть...

Надежды Алеши на работу рухнули. Ветер сразу стал холодней, а человек еще более неприятен.

— Что?—воскликнул он, усмехаясь.—Вот-те и дворник!

Теперь, стоя близко от него, Алеша видел, что человек находится в тяжком похмелье.

— Айда прочь!—сказал он веселым голосом, дохнув на Алешу густою струей винного перегара и размахивая короткой ручкой.

Алеша повернулся и не торопясь пошел к воротам.

— Эй! Три целковых в месяц—хошь?

Алеша был здоров, силен, грамотен—и ему работать на этого жирного пьяницу за гривенник в день!

Но—зима не шутит, делать было нечего. Скрепя сердце, Алеша сказал:

— Ладно.

— Ступай к приказчику!

Войдя в покосившуюся, щелявую пристройку двухэтажного дома, Алеша стал пробираться между мешками муки, как вдруг на дворе раздались страшные звуки: что-то зашлепало, зафыркало.

Прильнув лицом к щели в стене сеней, Алеша обомлел в удивлении: хозяин прижав локти к бокам, мелкими прыжками бегал по двору, точно его, как лошадь, кто-то гонял на невидимой корде. Сверкали голые икры, толстые круглые колени, трясся живот и дряблые щеки. Округлив свой рот, человек вытянул губы трубою и пыхтел:

— Фух, фух...

Кружится солома, мочало, катаются колесики стружек, ветер свистит в трубе, торопливо барабанит какая-то щепа, а в кругу хлама грузно прыгает, прогоняя похмелье после запоя, потея и хрипя, необычный, невиданный человек,—прыгает, хлябая сырым, жирным телом и фыркает:

— Фух, фух, фух...

И откуда-то из угла ему неистово отзываются свиньи сердитым визгом и хрюканьем.

«Это куда же я втяпался?»—подумал Алеша.

В огромной печи жарко пылает золотой огонь, а перед ним чортом извивается, шаркая длинной лопатой, пекарь Пашка Цыган,—человек маленький, черноволосый, с раздвоенной бородкой и ослепительно-белыми зубами.

— Жарь да вари!—кричит он, смахивая ладонью пот с красивого лба в черных кудрях.

У стены под окнами, за длинным столом, сидят восемнадцать человек рабочих, делая маленькие крендели в форме буквы «В»; на одном конце стола двое режут тесто на длинные полосы, щиплют его на равномерные куски и разбрасывают

вдоль стола под руки мастеров,—быстрота движений этих рук почти неуловима. Рассучив кусок теста, связав его кренделем, каждый пристукивает фигуру ладонью—в мастерской непрерывно звучат мягкие шлепки.

Стоя у другого конца стола, Алеша укладывал готовые кренделя на лубки, мальчишки брали у него полный лубок и бежали к варщику. Тот сбрасывал сырое тесто в кипящий котел и через минуту вычерпывал их оттуда медным ковшом. Скользкие, жгучие кусочки снова укладывались на лубки, пекарь сушил их, ставя на шесток, складывая на лопату, швырял ловко в печь, а оттуда они являлись уже румяными: готовы!

Если Алеша не успевал во-время разложить все подбрасываемые ему кренделя, они тотчас слеживались, слеплялись, работа была испорчена, и люди за столом, ругая его, швыряли в лицо ему шматки теста.

Кроме того в смену с другим рабочим он должен был месить тесто. Это очень тяжелая работа—вымесить семипудовую массу так, чтобы она стала крутой и упругой, подобно резине, и чтобы в ней не было ни одного камешка сухой непромешанной муки. А сделать это нужно быстро,—самое большее в полчаса.

Работали кренделыщики четырнадцать часов в сутки, в низком и душном подвале с маленькими окнами. Стекла окон были побиты, замазаны тестом, снаружи обрызганы грязью. В углах, как старое тряпье, висели клочья паутины, покрытые мучной пылью.

Восемнадцать носов сонно и уныло качались над столом. Лица людей мало отличались одно от другого, на всех лежало одинаковое выражение сердитой усталости.

В первый же день Алеше рассказали, что еще недавно, шесть лет тому назад, хозяин был тоже рабочим, пекарем, потом подговорил жену своего хозяина извести мужа мышьяком, и сам забрал все в свои руки. Алешу удивляло то, что все рабочие, от старика Кузина, ябедника и доносчика, до милого мальчика Яши, который нанизывал кренделли за два рубля в год, все говорили о хозяине с какой-то хвастливостью:

— Вот-де он какой человек! Заведение на сорок человек держит; крендельная, хлебопекарня, булочная, сушечная—оборотись-ка с этим! Жаден—харчи дает скверные. А работы требует семь мешков каждый день,—в тесте это сорок девять пудов, на мешок два с половиной часа уходит!

— Удивительно говорите вы о нем,—сказал Алеша.

— Чего—удивительно?

— Словно хвалитесь...

— Есть чем хвалиться! Ты раскуси: был он простой рабочий человечишка, а теперь перед ним квартальный шапку ломит!

Кузин, благочестиво вздохнув, подтвердил:

— Разума дал ему Христос достаточно.

А пекарь Цыган, разгораясь, кричит:

— Одного кренделя в уезд за зиму он продает боле пяти тысяч пудов, да семеро разносчиков в го-

роде обязаны каждый день продать по два пуда кренделей и сушек первого сорта—видал?

Воодушевление пекаря было непонятно Алеше и раздражало его,—он уже имел достаточно причин думать и говорить о хозяевах иначе.

А старый Кузин, прикрыв вороватый глаз седой бровью, как будто дразнит:

— Это, братец ты мой, не прост человек!

— Видно не прост, коли вы сами говорите, что он хозяина отравил...

Пекарь, нахмуря черные брови, неохотно проговорил:

— Свидетелей этому нет. Мало ли что говорят. Не любят, когда нашему брату удача приходит...

— Какой же он тебе брат?

Цыган не ответил, и все остальные молчали, точно их не было на земле.

Только Кузин повел на Алешу зловеще глазом.

Когда наступала очередь Алеши укладывать кренделя, он, стоя у стола, рассказывал ребятам все, что он знал, и что, по его мнению, могло бы внушить им надежду на более легкую и разумную жизнь.

Чтобы заглушить шум работы, нужно было говорить громко, а когда его слушали хорошо, Алеша увлекался и еще повышал голос. В один из таких моментов бесшумно за спиной Алеши явился хозяин. Алеша продолжал говорить до поры, пока не заметил, что все звуки в мастерской стали тише,

хотя работа пошла быстрей, и в то же время за плечом у него раздался насмешливый голос:

— Про што грохаешь, грохало?

Алеша обернулся и сконфуженно замолчал, а хозяин прошел мимо, смерив Алешу острым взглядом зеленого глаза, и спросил пекаря:

— Как работает?

Тот ответил:

— Ничего! Здоров...

Не торопясь, точно мяч, хозяин перекатился наискось мастерской и, обернувшись у выхода, сказал Цыгану лениво, тихо:

— Поставь его тесто набивать без смены неделю...

И скрылся за дверью.

— Здо-орово,—протянул кто-то. Другой насмешливо свистнул.

Тогда с пола из угла, где сидели мальчики, раздался сердитый, укоряющий голос Яши:

— Стоз вы, челти,—с клаю стола котолые? Толканули бы человека, когда видите, хозяин идет...

— Да-а,—сипло протянул его брат Артем, парень лет шестнадцати,—это не шуточка,—неделю без смены тесто набивать, косточки-то взноют!

С краю стола сидел старик Кузин и солдат Милов, добродушный мужик. Кузин, спрятав глаз, промолчал, а солдат виновато проговорил:

— Не догадался я...

Наступило неловкое, тягостное молчание. На Алешу старались не смотреть. Ему было грустно, чувство одиночества и отчужденности от этих людей все более охватывало его.

Стали с тех пор в крендельной звать Алешу Грохалом.

Иногда в мастерской буйно гремела хоровая песня. Но являлся бесшумно хозяин или вбегал шустрый рыжий приказчик.

— Веселитесь, ребятки?—слащаво-ядовитым голосом спрашивал хозяин, а приказчик просто кричал:

— Тише, сволочи!

И все тотчас гасло, а от быстроты, с какой эти люди подчинялись властному окрику, на душе у Алеши становилось еще темнее, еще тяжелее. Когда они перестанут быть такими покорными и терпеливыми?

Алеша устроил из лучины нечто в роде подставки. Когда, отбив тесто, он становился к столу укладывать крендели, то ставил на нее книжку и так читал вслух. Руки его не могли ни на минуту оторваться от работы, а потому обязанность переворачивать страницы лежала на Милове. Он же должен был предупреждать Алешу пинком ноги в ногу о выходе хозяина из своей комнаты в хлебопекарню.

Но солдат был порядочный ротозей, и однажды, когда Алеша читал «Сказку о трех братьях» Льва Толстого, за плечом у него раздалось лошадиное фырканье хозяина, протянулась его маленькая пухлая рука, схватила книжку, и—не успел Алеша опомниться—как хозяин пошел, помахивая книжкою, к печи, говоря на ходу:

— Чего придумал,—а? Ловок!..

Алеша настиг его, схватил за руку:

— Жечь книгу—нельзя!

— Как так?

— Так. Нельзя!

В мастерской стало очень тихо. У Алеши зеленело в глазах и тряслись ноги. Ребята работали во всю силу, как будто торопясь окончить одно и приняться за другое дело.

— Нельзя?—переспросил хозяин, не глядя на Алешу, склонив голову на бок и точно прислушиваясь к чему-то.

— Дайте-ка сюда.

— Ну... на!

Алеша взял измятую книжку, выпустил руку хозяина и отошел на свое место, а тот, наклоня голову, прошел, как всегда, молча на двор.

В мастерской долго молчали, потом пекарь резким движением отер пот с лица, и, топнув ногою, проговорил:

— Ух, даже сердце захолонуло, ну вас к чорту! Так и ждал, сейчас схлестнется он с тобой...

— И я,—радостно подтвердил Милов.

— Мо-огла быть драка!—воскликнул Цыган.—Ну, теперь, Грохало, держись. Начнет он тебя покорять—ух ты!

Артем пониженным голосом ругал солдата:

— Растяпа! Что ж ты—не видал?

— Стало быть, не видал.

— А тебе не наказывали—гляди!?

— А я вот не доглядел...

Большинство равнодушно молчало, слушая сердитую воркотню. Алеша не мог понять, как относятся к нему эти люди, чувствовал себя нехорошо и думал, что, пожалуй, лучше ему уйти отсюда. И как

будто поняв его думы, Цыган сердито заговорил:

— Ты, Грохало, бери-ка расчет,—все равно теперь тебе житья не будет!

Но тут с пола встал Яшка, сидевший на рогоже,—встал, выпучил живот и, покачиваясь на кривых ногах рахитика, крикнул, подняв кулачок:

— Сасем уходить? Дай ему в молду! А будет длаться—я заступлюсь.

Секунда молчания и—все захохотали освежающим, здоровым смехом, а Яшка—сконфуженно посмеиваясь—одергивал рубаху:

— А—сто? Вот ессё!..

Первый кончил смеяться крендельщик Шатунов, вытер лицо ладонью и, ни на кого не глядя, заговорил:

— Яшка верно говорит, младенец! Зря пугаете человека. Он добро нам оказывает, а вы ему—уходи...

И все дружно заговорили о том, как бы предохранить Алешу от грозящих бед.

БУНТ

На другой день, рано утром, хозяин широко распахнул дверь из сеней в мастерскую, встал на пороге и сказал с ядовитой сладостью:

— Господин Грохало, подь-ка, перетаскай мучку со двора в сенцы...

В дверь белыми клубами врывается холод, окутывая варщика Никиту; оглянувшись на хозяина, Никита попросил:

— Притвори дверь-то, Василий Семеныч,—дует больно мне...

— Что-о? Дует?—взвизгнул хозяин и, ткнув Никиту в затылок маленьким тугим кулачком, исчез, оставив дверь открытой.

Никита в течение шести лет торчал у котла с пяти часов утра и до восьми вечера, непрерывно купая руки в кипятке; правый бок ему палило огнем, а за спиной у него была дверь на двор, и несколько сот раз в день его обдавало холодом. Пальцы у него были искривлены ревматизмом, лекие воспалены, а на ногах натянулись синие узлы вен.

Надев на голову пустой мешок, Алеша пошел на двор, и, когда поровнялся с Никитой, тот сказал ему тихонько сквозь зубы:

— Это все из-за тебя, черти бы те взяли...

Из больших его глаз лились мутные, как пот, слезы. Алеша вышел на двор, убито думая:

«Надо уходить отсюда»...

Хозяин в женской лисьей шубке стоял около мешков муки. Их было сотни полторы, даже треть не убралась бы в тесные сени. Алеша сказал ему это,—он издевательски усмехнулся, отвечая:

— Не уберется—назад перетаскать заставлю... Ничего, ты здоров...

Сдернув мешок с головы, Алеша заявил хозяину, что не позволит ему издеваться, и пусть он даст ему расчет.

— Таскай, таскай, знай!—снова усмехнувшись, сказал хозяин.—Куда пойдешь зимой-то? С голоду подохнешь...

— Расчет!

Серый глаз хозяина налился кровью, зеленый злобно забегал, он сжал кулак и, сунув им в воздух, всхлипнувшим голосом спросил:

— А в рожу—хочешь?

Отбив его протянутую руку, Алеша схватил его за ухо и стал молча трепать, а он толкал Алешу левой рукой в грудь и негромко, удивленно вскрикивал:

— Постой! Что ты? Хозяина-то? Пусти, чорт...

Потом, то взвешивая на левой руке отшибленную правую, то потирая красное ухо и глядя в лицо Алеше остановившимися, нелепо вытаращенными глазами, он стал бормотать:

— Хозяина? Ты? Ты—кто такой, а? Да я... я—полицию вскричу! Я тебя...

И вдруг, обиженно сложив губы трубочкой, он протяжно, уныло свистнул и пошел прочь, моргая правым глазом. Было смешно смотреть, как он тихонько катится в угол, а под короткой шубенкой вздрагивает, точно обиженный, его жирный зад.

Алеша был уверен, что хозяин или прогонит его, или позовет полицию.

Однако, этого не случилось. Нельзя было хозяину признаться, что парень-рабочий его за уши трепал. Он придумал другую месть.

Он стал каждый день приходить в мастерскую, словно нарочно выбирая то время, когда Алеша что-нибудь рассказывал или читал. Входя бесшумно, он усаживался под окном на ящик с гирями, и если Алеша, заметив его, останавливался,—он с угрюмой насмешливостью говорил:

— Болтай, болтай, профессор, ничего не будет. Мели, знай!

Однажды Алеша рассказал мастерам о строении мира, о солнце и звездах. На земле жилось нелегко, и потому Алеша очень любил небо. О происхождении вселенной и о красоте он рассказывал с большим увлечением. Внимание мастеров еще более его воодушевляло. Вдруг хозяин медленно встал и, бесшумно уходя, похожий на куль муки, сказал тоненьким голосом и в нос:

— Ну, будет, Грохало! Спасибо, брат! Очень-все хорошо. Теперича, расставив звезды по своим местам, поди-ка ты покорми свинок, свинушечек моих...

Алешу охватило бешенство: не помня себя, он выбежал вслед за хозяином, но в сенях его схватили Цыган и Артем и стали отпаивать водой. Подошел Яшка и серьезно сказал:

— Возьми гилю фунта в тли, а то полено...

А Цыган угрюмо ворчал, похлопывая Алешу по спине:—Охота связываться...

Кормление свиней считалось обидным и тяжелым наказанием: четыре огромных борова помещались в темном, тесном хлеве, и когда человек вносил к ним ведра корма, они подкатывались под ноги ему, толкали его тупыми мордами; редко кто выдерживал эти любезности, не падая в грязь хлева.

Войдя в хлев, нужно было тотчас же прислониться спиною к стене его, разогнать зверей пинками и, быстро вылив пойло в корыто, скорее уходить, потому что, рассерженные ударами, свиньи кусались. Хозяин в свиньях души не чаял. Часто

он заставлял дворника выпускать их на двор, садился посредине; боровы хрюкали, терлись около него, тыкали мордами в колени ему; он совал булки в красные пасти и ворчал отечески-ласково:

— У-у, кушать хочется зверям, булочки звери хотят! На, на, на...

Боровы тыкали его рылом в бок. Хозяин покачивался от ударов и сладостно хохотал, встряхивая рыхлое тело и сморщив лицо так, что его разные глаза тонули в складках кожи.

— Отшельнички-шельмочки,— взвизгивал он сквозь смех.—В темноте... во тьме живут, а вот они—чхо-чхо! Во-от они-а! Затворнички, угодники мои-и...

И когда хозяин шел по двору, йоркширы катились за ним, как поросята за маткой.

Но бывало и так, что выпущенные на двор животные разыграются и не хотят итти в хлев. Тогда дворник, отворив дверь в мастерскую, кричал:

— Гайда свиней загонять!

Вздыхая и ругаясь, на двор выбегало человек пять рабочих и начиналась—к великому наслаждению хозяина—веселая охота; сначала люди относились к этой дикой гоньбе с удовольствием, видя в ней развлечение, но скоро уже задыхались со зла и усталости. Свиньи отвратительно похожи одна на другую,—по двору мечется один и тот же зверь, четырежды повторенный. Малоголовые, на коротких ногах, почти касаясь земли голыми животами, катаясь по двору, как бочки, они то и дело опрокидывали людей, а хозяин смотрел

и, впадая в охотницкое возбуждение, подпрыгивал, топал ногами, свистел и визжал:

— Ванька, не поддавайся! Сковыривай болячки!

Когда человек валился на землю—хозяин визжал особенно громко и радостно, хлопая себя руками по толстым бедрам, захлебываясь смехом. И, действительно, смешно должно быть было смотреть, как по двору быстро мечутся туши розового жира, а вслед за ними бегают, орут, размахивая руками, рабочие, напудренные мучной пылью, в грязных лохмотьях, в опорках на босу ногу, бегают и падают; или ухватят борова за ногу, а он волочит их по двору.

Но людям было не до смеху. А в тот день, когда Алеша получил новое наказание, после «свиного парада», как называли мастера выход свиней, один боров вырвался на улицу, и Алеша, Цыган, Артем и еще трое парней два часа бегали за ним по городу, пока прохожий татарин не подбил свинье передние ноги палкой, после чего нужно было тащить животное домой на рогоже, к великой забаве жителей. Татары, покачивая головами, презрительно отплевывались, русские живо образовали толпу провожатых,—черненький, ловкий студентик, сняв фуражку, сочувственно и громко спросил Артема, указывая глазами на верещавшую свинью:

— Мамаша или сестрица?

— Хозяин,—ответил усталый и злой Артем.

В тот день Алеша опять говорил мастерам о том, как возмущает его их способность терпеть и все переносить, подчиняясь полубезумным издеватель-

ствам пьяного хозяина. Тот, подозревая об опасных разговорах, перевел Алешу в хлебную.

Но дня через два, ночью, посадив хлеб в печь, Алеша заснул и был разбужен диким визгом: в арке, на пороге крендельной, стоял хозяин, истекая скверной руганью. На порог, вскрикивая, выполз один из мастеров, а хозяин, вцепившись руками в косяки, сосредоточенно пинал его в грудь и бока.

— Ой... убьешь...—вздыхал парень.

— Ать, ать,—спокойно выговаривал хозяин с каждым ударом и катил перед собою скрюченное тело, ловко сбивая его с ног каждый раз, когда парень пытался вскочить с пола.

Из крендельной выскакивали рабочие, молча сбиваясь в тесную кучу,—в сумраке утра лиц не видно было, но чувствовалось, что все испуганы. Парень катился к их ногам, вздыхая:

— Братцы... убьет...

Рабочие подавались назад, заваливаясь, точно сгнивший плетень под ветром, но вдруг откуда-то выскочил Артюшка и крикнул прямо в лицо хозяина:

— Будет!

Тот отшатнулся. Стало очень тихо, и несколько секунд длилось это мучительное молчание, когда не знаешь, что победит—человек или животное.

— Это кто?—хрипло спросил хозяин, из-под руки присматриваясь к Артему и другую руку поднимая вровень с его головой.

— Я!—слишком громко крикнул Артем, отсту-

пая; хозяин покачнулся к нему, но вперед вышел пожилой рабочий, Осип Шатунов. Хозяин ударил его кулаком по лицу.

— Вот что,—мотнув головою и сплюнув, спокойно заговорил Осип,—ты погоди, не дерись!

И тотчас на хозяина, пряча руки за спину, в карманы, за гашники, полезли Пашка Цыган, солдат, тихий мужик Лаптев, варщик Никита, все они высовывали головы вперед, точно собираясь бодаться, и все, вперебой, неестественно громко кричали:

— Будет! Купил ты нас? Ага-а!? Не хотим!

Хозяин стоял неподвижно, точно он врос в гнилой, щелявый пол. Руки он сложил на животе, голову склонил немножко на бок и словно прислушивался к непонятным ему крикам. Все шумнее накатывалась на него темная, едва освещенная желтым огоньком стенной лампы толпа людей, в полосе света иногда мелькала—точно оторванная—голова с оскаленными зубами. Все кричали, жаловались, и выше всех поднимался голос варщика Никиты:

— Всю мою силушку съел ты! Чем перед богом похвалишься? Э-эх—отец!

Грязной пеной вскипала ругань, кое-кто уже размахивал кулаками под носом хозяина, а он точно заснул стоя.

— Кто тебя обогатил? Мы!—кричал Артем, а Цыган точно по книге читал:

— И так ты и знай, что семи мешков работать мы не согласны.

Опустив руки, хозяин повернулся направо и молча ушел прочь, странно покачивая головою с боку на бок.

...Крендельная мирно и оживленно ликовала. Все настроились деловито, взялись за работу дружно, все смотрели друг на друга как бы новыми глазами—доверчиво, ласково и смущенно, а Цыган пел петухом:

— Пошевеливайся, ребятки, скрипи костями! Эх-ма!

Лаптев с мешком муки на плече, стоя среди мастерской, говорил, облизываясь и чмокая:

— Вот оно что... вот как бывает, ежели дружно, артельно...

Шатунов вешал соль и гудел:

— Артелью и отца бить сподручней.

Алеше весело было глядеть на товарищей. Все ожили, точно повеяло весной. Ждали, что за непокорство хозяин прибавит еще мешок муки на день, и готовились к борьбе.

Но хозяин оказался хитрее. Встретив крендельщиков в трактире, он подсел к ним, поставил вина и обошел ласковыми словами.

— С чужими людьми,—говорил он,—озеро водки выпил я, а со своими давно не приходилось...

На лицах ребят появились мягкие усмешки, и размякли, растаяли жадные на ласку, оборванные жизнью человечьи сердца,—все сдвинулись как бы плотнее, а Шатунов сказал как бы за всех:

— Мы тебя обидеть нисколько не хотели, а тяжело нам, измотались за зиму,—вот и все дело.

Алеше становилось тяжело. Он чувствовал себя лишним на этом празднике примирения. Незаметно встал он и вышел на улицу. Невозможность начать учение приводила его в отчаяние. Тяжелая

работа истощила силы; сознание своей ненужности людям и неумение помочь им привели его к поступку, о котором после он вспоминал со стыдом.

ТУЛЬСКИЙ РЕВОЛЬВЕР

Алеша пошел на базар, где торговали всяким хламом, и купил там за три рубля старый неуклюжий тульский револьвер. В ржавом барабане торчало пять круглых, как орехи, серых пуль, вымазанных салом и покрытых грязью, а шестое отверстие было заряжено пылью.

Алеша пошел за город, выбрал место на высоком берегу реки за оградою монастыря. Там под гору сваливали снег. Он рассчитал, что если он станет спиной к обрыву и выстрелит себе в грудь, то скатится вниз, и его засыплет снегом. Он подошел к самому краю, осторожно ощупывая ногой снег, боясь оступиться и упасть под гору раньше времени. Найдя твердое место, прочно встал на нем, снял шапку, бросил ее к ногам; вынув револьвер, расстегнул не торопясь пиджак, потом выпрямился, взвел тугой курок, нащупал сердце и, приставив дуло вплоть к телу, нажал большим пальцем собачку—щелкнуло, он вздрогнул, закрыл глаза...

И с головы до ног вспыхнул, поднял револьвер к лицу, с испугом глядя в барабан, на тусклые пульки, кукишами сидевшие в нем.

— Неужто не стреляет?

Незаметно для себя, он снова дернул собачку—бухнул выстрел, больно дернув за волосы, мимо уха свистнула пуля—Алеша тотчас же опустил и выстрелил в грудь.

Этот выстрел был громче, от него все вздрогнуло—подпрыгнули дома окраины перед глазами Алеши и поплыли на него; тупой толчок пошатнул, отдался в спине, бросил лицом в снег, снова стало удивительно тихо...

Алеше показалось, что он долго лежал, ничего не видя и не слыша, как будто его не было, потом он услыхал, как шипит в груди, почувствовал, что рубаха становится влажной и в нос бьет какой-то особенный, неприятно-сладковатый, жирный запах. Тотчас же в голове стало ясно,—он понял, что ему не удалось скатиться вниз и что он не убил себя.

Алеша вытянулся, слушая шипение крови, и вдруг ощутил ясный, хорошо знакомый запах горящей тряпки. В кости рук и ног, в голову проникал мучительный холод, судорожно сжимая тело, как бы связывая его узлом.

Этот холод заставил Алешу подняться и сесть, опираясь руками о снег; тогда он увидел, что по его рубахе бегают красные и золотые змейки, толстая рубаха из мешка горела на нем, как трут, и по всему телу растекалась острая, жгучая боль.

Алеша встал на колени, поднялся на ноги и стал срывать с себя горящие лохмотья рубахи; потом задыхаясь, хрипя и кашляя он пошел на темную полосу впереди себя, пока не упал на дороге...

Очнулся Алеша в больнице. В теплой тишине он шагал вверх по широкой лестнице,—итти было больно, и казалось, что он идет вниз. Его поддерживал под руку человек в белом с рыжими усами и большим красным лицом, оно кружилось точно колесо, усы лезли к ушам, а нос все время двигался.

— Позовите ординатора Плюшкова...

— Смешная фамилия,—сказал Алеша; ему казалось, что с этим рыжим необходимо было говорить о чем-нибудь.

— Не твое дело,—ответил рыжий, вводя его в маленькую комнату, где сверкало много стекла, усадил на стул и, стаскивая пиджак, потянув большим носом, спросил:—Пьяный?

— Что?

— Стрелялся—пьяный?

— Трезвый.

— Значит—дурак.

Он сказал это до такой степени просто и уверенно, что Алеша не только не обиделся, а засмеялся, но—смеяться нельзя было: хлынула горлом кровь и обрызгала белый халат рыжего.

— О, чорт,—вскричал он, отскочив и отряхивая полу.

Ведя сам себя за бороду, в комнату вошел человек с веселым и приятным лицом.

— Ну-те-с?

— Огнестрельная рана в область сердца.

— Самоубийство?

— Да.

— Ясно. На стол!

И пока рыжий помогал Алеше укладываться на длинном столе, веселый человек, надевая халат, спрашивал:

— Это вы зачем же, юноша?

— Так.

— Однако?

Лежать на столе голому было и холодно, и боль-

но, но Алеше не хотелось, чтобы эти люди знали его боль, он закрыл глаза и сказал:

— Жить стало трудно.

— Ерунда! Это выдумано лентяями и бездельниками.

Алеша рассердился и стал спускать ноги со стола, рыжий строго сказал:

— Куда это?

И схватил его за ноги.

Ординатор наклонился над ним, разглядывая грудь.

— Ожог! и здоровый...

— Рубаха горела...

— Вижу. Экая глупость!

Алеша посмотрел на его большое красное ухо, думая:—Укусить бы...

Но ординатор воткнул в него зонд и, пригвоздив к столу, на минуту задавил все мысли.

— Здорово просажено! Сквозная, что ли? Ну-те-с, перевернем его!

Перевернули, внушив Алеше желание лягнуть их хорошенько, но он не мог поднять тяжелые ноги. А ординатор весело бормотал:

— Во-от она: тут, под кожей... Сейчас, немножко, чуточку... готово!

Укол в спину заставил Алешу вздрогнуть.

— Ничего!

И сунув к носу ему измятый кусок свинца, ординатор спросил:—Сохранить на память, а?

— Не надо.

Пуля упала во что-то металлическое.

– Такой здоровенный парень и такую глупость содеять! Не стыдно, ну-те-с?

— Не балагурьте,—проворчал Алеша.

Он сам уже давно догадался, что сделал глупость—это злило и угнетало его. Ему было нестерпимо стыдно перед рыжим человеком и перед веселым ординатором.

После, лежа в больнице, Алеша все больше проникался презрением к себе за свою глупую выходку. Куда же он годен после этого? Вот когда обнаружилось, что он действительно ни на что и никому не нужен! Снова поднимались мысли о смерти. Но вдруг случилось что-то неожиданное и простое, что сразу поставило его на ноги: однажды в палату вошли трое знакомых людей—веселый черный пекарь Пашка Цыган и еще двое: кособокий подросток с лицом хорька и здоровый, широкоплечий, сердито нахмурившийся парень.

Виновато улыбаясь, ласково моргая глазами, сконфуженные чистотою больницы, они остановились у двери, оглядывая койки.

— Вон он,—тихо вскричал пекарь, указывая пальцем на Алешу и оскалив белые зубы.

Точно боясь проломить пол, они на цыпочках гуськом подошли к нему, пряча за спиною темные руки с какими-то узелками. Двое улыбались ласково, третий—сумрачно и как бы враждебно.

— Во-он он,—повторил пекарь, по-бабьи поджимая губы и дергая себя за черную бородку обожженной рукою в красных шрамах, а подросток уже совал Алеше бумажный пакет и, захлебываясь словами, говорил тихонько, торопливо:

— Алимоны, отличные... с чаем будешь...

— Здорово!—сказал широкоплечий парень, сердито встряхнув руку Алеши.—Ну—как? Похудел...

— Не больно!—подхватил пекарь.—Конечно—болезнь не ласкает, а ничего! Мы поправимся, во—еще! На-ко-ся тебе: сушки тут осьмуха, ну—сахар, конечно...

— Курить—дают?—спрашивал сердитый парень, опуская руку в карман.

— Братцы, как я рад,—бормотал Алеша, взволнованный почти до слез.

— Не дают курить?—глядя в сторону, угрюмо допрашивал парень, шевеля рукою в кармане синих пестрядиных штанов.—Ну, пес с ними! Я и табаку припас, и леденцов: когда курить охота, ты—леденца пососи, все легче будет... хоша и не то! Чистота у тебя тут, ну-ну-у...

Алеша видел, что двое отчаянно притворяются веселыми и развязными, а третий, напрягаясь до пота, хочет казаться спокойным, и всем не удается игра, три пары глаз жалобно мигают, мечутся, бегая из стороны в сторону, стараясь не встречаться друг с другом и не видеть Алешины глаза.

— Ну—спасибо!—бормотал он, задыхаясь.

Они сели, двое на койку, один на табурет, подросток превесело спросил:

— Когда на выписку?

Пекарь сказал:

— Чего спрашивать? Сам видишь—хоть сейчас!

А третий деловито посоветовал:

— Ты, брат, как снимаешься, к нам вались!

И заговорили вперебой все трое:

— Конечно...
— Работу выищем полегче...
— Тут—праздники, Рождество...
— Скучно лежать?
— Конечно, что спрашивать?..
— Так-то вот...

Дрожащими руками Алеша хватал их жесткие руки, смеясь, всхлипывая...

— Ах, братцы... чорт возьми...

Они вдруг замолчали, и сквозь слезы Алеша видел, что нарочитое оживление их исчезло, три пары глаз покраснели и вдруг за сердце его схватил тихий шопот:

— Э-эх, ты! Как же это ты, а?
— Уда-арил ты на-ас...

Третий голос добавил так же тихо, но внушительно:

— А еще говорил,—братцы, говорил, правда, говорил...
— Разве этак можно?
— Братцы, говорил, а сам?..

Алеша смеялся и плакал, задыхаясь от радости, тиская две разные руки, ничего не видя и всем существом чувствуя, что он выздоровел на долгую, трудную, но упрямую жизнь...

СЕЛЬСКАЯ ЛАВОЧКА

По выходе из больницы Алеше не пришлось вернуться в пекарню. Ему встретился на улице большой широкогрудый человек с густой окладистой бородищей и по-татарски бритой головой.

Алеша знал уже раньше, что этот бородатый богатырь (его в городе звали «Хохол») был сослан в Сибирь, в Якутскую область, где прожил десять лет, и только что вернулся.

— Вот что,—заговорил Хохол.—Слышал я о вас. Не место вам в пекарне. Трудно будет одному. Не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидово, сорок пять верст вниз по Волге, у меня там лавка. Вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас немного времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться—согласны?

— Да.

Он протянул Алеше широкую ладонь и сказал:

— Ну, вот и договорились. Да, мое имя—Михайло Антонов, а фамилия—Ромась. Так.

Он ушел, не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело.

Для Алеши многое здесь было загадочно. Что этот великан не простой торговец—было ясно. Но что же у него за лавка? Впрочем, он обещал помочь учиться—и это было чудесно.

Через два дня Алеша с Ромасем и двумя крестьянами плыл на лодке в село Красновидово.

Ромась рассказал Алеше, что завел он лавку для революционной пропаганды среди крестьян.

Потом объяснял:

— Надо же учить людей уму-разуму—так? Я продаю дешевле, чем двое других лавочников села, конечно—это им не нравится. Делают мне пакости, собираются избить. Да и мужики меня не любят, особенно—богатые. Нелюбовь эту придется и вам испытать на себе.

— Особо тебя, Антоныч, поп не любит...—сказал один из крестьян, Кукушкин, растрепанный мужичонка в рваном армяке.

— Это верно,—подтвердил другой.

— Ты ему, псу рябому, кость в горле!

— Но есть и друзья у меня—будут и у вас!—слышал Алеша голос Ромася.

Ему нравились его спокойствие и ровная речь, простая, ясная. «Этот человек знает, что ему нужно делать»,—думал Алеша.

Когда приехали на село, их встретил красивый мужик Изот, с курчавой бородой, в густой шапке рыжеватых волос. Через полчаса Алеша сидел в своей комнате на чердаке.

Позвали обедать. За столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, что-то говорил, но замолчал, увидя Алешу.

— Что же ты?—хмуро спросил Ромась.—Говори.

— Да уж и ничего, все сказал. Значит—так решили: сами, дескать, управимся. Ты ходи с пистолетом, а то с палкой потолще.

Ромась заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков. Изот, выслушав его, сказал:

— Окончательно мироеды житья не дадут тебе.

— Увидим.

— Да, уж—так!

И прибавил:—Ты, Михайло Антонов, не торопись; хорошо—скоро не бывает. Легонько надо.

Когда он ушел, Ромась сказал задумчиво:

— Умный человек и верный. С такими много сделать можно.

Потом показывал Алеше свои книги, гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят, и говорил:

— Вы человек способный, по природе—упрямый и, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да—так, чтобы книга не закрывала людей. Люди учат больнее,—грубо они учат,—но наука их крепче въедается.

Вечером он ушел куда-то, а часов в одиннадцать Алеша услышал на улице выстрел,—он хлопнул где-то близко. Выскочив во тьму, под дождь, Алеша увидал, что Ромась идет к воротам, обходя потоки воды неторопливо и тщательно, большой, черный.

— Вы—что? Это я выпалил.

— В кого?

— А тут какие-то с кольями наскочили на меня. Я говорю—отстаньте, стрелять буду,—не слушают. Ну, тогда я выстрелил в небо,—ему не повредишь...

Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду, и фыркал, как лошадь.

— А сапоги чортовы, оказывается, худые у меня! Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет.

Алешу восхищало его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз В комнате, расчесывая бороду перед зеркалом, он предупредил Алешу:

— Вы ходите по селу осторожней, особенно—в праздники, вечерами, вас, наверное, тоже захотят бить. Но палку с собой не носите, это раздражает драчунов и может внушить им мысль, что вы—боитесь. А бояться—не надо! Они сами народ трусоватый...

Алеша начал жить очень хорошо. Каждый день приносил ему новое и важное. С жадностью стал он читать книги по естествознанию. Ромась учил его:

— Это, Максимыч, прежде всего и лучше всего надо знать, в эту науку вложен лучший разум человеческий.

Вечерами ставни плотно закрывались, на столе горела лампа, перед нею сидел Ромась, крутолобый, гладко остриженный, с большой бородой. Он говорил медленно и внятно:

— Суть жизни в том, чтобы человек все дальше отходил от скота...

Трое крестьян слушали внимательно, у всех хорошие глаза, умные лица.

— Мужику надо внушать,—говорил еще Ромась,—ты, брат, хоть и не плох человек сам по себе, а живешь плохо и не умеешь делать так, чтоб жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботиться о себе, чем ты; зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось все,—дворянство, духовенство, ученые, цари, все это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну,—учись жить, чтоб тебя не мордовали...

Иногда приходил один Изот. Алеша учил его грамоте. Учился Изот усердно, довольно успешно и—очень хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две, три строки и, покраснев, смотрит на Алешу, изумленно говоря:

— Читаю ведь, мать его курицу!

И повторяет, закрыв глаза:

Словно как мать над сыновней могилой,
стонет кулик над равниной унылой...

— Видал?

Несколько раз он вполголоса, осторожно, спрашивал Алешу:

— Объясни ты мне, брат, как же это выходит, все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я знаю их—слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны,—как это?

Алеша не знал, что ответить, и его «не знаю» огорчало Изота.

— Колдовство!—говорил он, вздыхая и рассматривая страницы книги на свет.

Часто сидели они с Алешей тихими ночами на Волге; Изот мечтал:

— Выучусь, начитаюсь,—пойду вдоль всех рек и буду все понимать! Буду учить людей! Да.

Потом смотрел на звезды и спрашивал Алешу:

— Хохол говорит,—и там, может, кое-какие жители есть, в роде нашем, как думаешь, верно это? Знак бы им подать, спросить—как живут? Подика—лучше нас, веселее...

О «мироедах» он говорил с ненавистью.

— Крестьянство должно жить стадом, дружно, тогда оно—сила. А богатеи расщепляют деревню, как полено на лучину. Ведь вот что! Это—злодейский народ. Вот как хохол мается с ними...

Алешу уже раза три пробовали побить, застигая ночью на улице, но он не поддавался, и только од-

нажды его ударили палкой по ноге. Конечно, он не говорил Ромасю о таких стычках, но, заметя, что Алеша прихрамывает, тот сам догадался, в чем дело.

— Эге, все-таки—получили подарок? Я ж говорил вам?

Однажды утром, в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а Алеша был в лавке—в кухне раздался сильный вздох, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стекла, забарабанило по полу. Алеша бросился в кухню, из двери ее в комнату лезли черные облака дыма, за ними что-то шипело и трещало. Ромась схватил Алешу за плечо:

— Стойте...

В сенях завыла кухарка.

— Э, дура...

Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал:—Перестань! Воды!

На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в черном жерле печи было пусто, как выметено. Нащупав в дыму ведро воды, Алеша залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь.

— Осторожней!—закричал Ромась,—осторожней, Максимыч! может, еще взорвет...—И, присев на корточки, он стал рассматривать круглые еловые поленья.

— Что вы делаете?

— А—вот!

Он протянул Алеше странно разорванный кругляш, и Алеша увидал, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела.

— Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом. Дурачье! Ну—что можно сделать фунтом пороха?

И отложив полено в сторону, он начал мыть руки.

За это время вокруг избы собралась толпа. В открытые окна комнаты смотрели искаженные страхом и гневом волосатые рожи, щурились глаза, разъедаемые дымом, и кто-то возбужденно, визгливо кричал:

— Выгнать их из села! Скандалы у них бесперечь! Что такое, господи?

Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая полено, говорил толпе:

— Кто-то из вас начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало, и вреда никакого не вышло...

Пьяный солдат Костин закричал:

— Выгнать его, изувера!.. Под суд...

Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его слова:

— Для того, чтоб взорвать избу, надо много пороха, пожалуй,—пуд! Ну, идите же...

Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожалея о чем-то. Сели пить чай.

— Не сердит вас это?—спросил Алеша.

— Времени не хватит сердиться на каждую глупость.

Алеша подумал: «Если бы все люди так спокойно делали свое дело!»

Явился Кукушкин с ведром разведенной глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил:

— Удумали, черти! Вошь свою перевести—не

могут, а человека извести—пожалуйста! Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше поменьше, да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь,—жди беды.

«Эта штука», очень неприятная богатеям села,—артель садовладельцев. Мужики села должны были артелью продавать яблоки со своих садов, что было гораздо выгоднее, чем поддаваться кулакам, скупавшим товар за бесценок.

Разумные мужики села объединились вокруг Ромася, помогая ему, кто чем мог. Больше всех работал красавец Изот. А в середине лета Изот пропал. Заговорили, что он утонул, и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастье объяснили тем, что Изот, ловя рыбу, вероятно, заснул на реке, и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях верстах в пяти ниже села.

Ромась был в городе, когда случилось это. Вечером к Алеше в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя себе на ноги, потом, закуривая, спросил:

— Когда Хохол воротится?

— Не знаю.

Он начал крепко растирать ладонью лицо, тихонько ругаясь и рыча, как подавившийся костью.

— Что ты?

Он взглянул на Алешу, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала, наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь:

— Ездил я—с ребятами. Лодку смотрели Изо-

тову. Топором дно-то прорублено—понял? Значит—убит Изотушка! Не иначе...

Встряхивая головою, он снова стал тихо ругаться, всхлипывая сухим, горячим звуком, а потом, замолчав, начал креститься. Нестерпимо было Алеше видеть, как этот мужик хочет заплакать и—не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая головой.

На другой день вечером мальчишки, купаясь, увидели Изота под разбитой баржею, обсохшей на берегу. Половина днища баржи была на камнях берега, половина—в воде, и под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось, вниз лицом, длинное тело Изота, с разбитым, пустым черепом,—вода вымыла мозг из него.

Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стесан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака. Казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег.

Угрюмо стояло на берегу десятка два мужиков богачей, бедняки еще не воротились с поля. Суетился, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя—по-очереди—на Алешу и Кукушкина.

— Ой, озорство!—причитал староста, семеня кривыми ногами.—Ох, мужики, не хорошо!

С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики.

Толпа осторожно и негромко гудела:

— Занозистый был мужик.

— Чем это?

— Это, вон, Кукушкин занозист...

— Зря извели человека...

— Изот—смирно жил...

— Смирно-о?—завыл Кукушкин.—Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А?

Мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке:

— На, животный!

Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул Алеше:

— Уходи, драться будут!

Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием...

— Видал, как я Кузьмина шарахнул?

Потом уходили от тесной кучи людей, стоявшей у баржи, и Кукушкин говорил сердито:

— Всех нас вот эдак... Господи, глупость какая!

Ромась приехал дня через два, поздно ночью, видимо очень довольный чем-то, необычно ласковый. Увидев осунувшегося Алешу, он хлопнул его по плечу:

— Мало спите, Максимыч?

— Изота убили.

— Что-о?

Скулы у него вздулись желваками, и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражку, он остановился среди комнаты, прищурив глаза, мотая головой.

— Так. Неизвестно—кто? Ну, да...

Медленно подошел к окну и сел там, вытянув ноги.

— Я же говорил ему... Начальство было?

— Вчера. Становой.

— Ну, что же?—спросил он и сам себе ответил:—Конечно, ничего!

Алеша рассказал, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику.

— Так. Ну, что же тут скажешь?

Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал:

— Как жалко Изота...

Долго молчал, потом ушел, наклоняя голову в двери ниже, чем это было необходимо.

НЕ ПАДАЯ ДУХОМ

Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Работы организатору артели предстояло много.

Однажды рано утром Ромась приплыл из города с новым товаром. Переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил:

— А хорошо плыть ночью по реке...

И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно:

— Как будто—гарью пахнет?

В ту же минуту на дворе раздался вопль кухарки:

— Горим!

Бросились на двор,—горела стена сарая со стороны огорода. В сарае держали керосин, деготь, масло. Несколько секунд Алеша и Ромась оторо-

пело смотрели, как желтые языки огня лижут стену и загибаются на крышу. Кухарка притащила ведро воды, Ромась выплеснул его на цветущую стену и, бросив ведро, сказал:

— К чорту! Выкатывайте бочки, Максимыч! Аксинья, в лавку!

Алеша быстро выкатил на двор и на улицу бочку дегтю и взялся за бочку керосина, но когда повернул ее,—оказалось, что втулка бочки открыта, и керосин потек на землю. Пока он искал втулку, огонь не ждал, сквозь досчатые сени сарая просунулись острые его клинья, потрескивала крыша и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, Алеша увидал, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Ромась и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его в овраг, а среди улицы стоит черная, седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно:—А-а-а-а, дьяволы!.

Снова вбежав в сарай, Алеша нашел его полным густейшего дыма, в дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскаленную решетку. Дым душил и ослеплял, у Алеши едва хватило сил подкатить еще бочку к двери сарая, в дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на него сыпались искры, жаля кожу. Он закричал о помощи, прибежал Ромась, схватил его за руку и вытолкнул на двор.

— Бегите прочь!.. Сейчас взорвет...

Ромась бросился в сени, Алеша за ним и—на чердак, там у него лежало много книг. Вышвырнув их в окно, он захотел отправить вслед за ними

ящик шапок, окно было узко для этого, тогда он начал выбивать косяки тяжелой гирей, но,—глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло. Это взорвалась бочка керосина. Крыша над Алешей запылала, затрещала, мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня. Алеше стало нестерпимо жарко. Он бросился к лестнице,—густые облака дыма поднимались ему навстречу, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях, так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Алеша растерялся. Ослепленный дымом, задыхаясь, он стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая желтая рожа, судорожно искривилась, исчезла и тотчас же крышу пронзили кровавые копья пламени. Алеше показалось, что волосы на голове его трещат, и кроме этого он не слышал иных звуков. Понимал, что погиб, отяжелели ноги, и было больно глазам, хотя он и закрыл их руками.

Вдруг он опомнился—мгновенно сообразил, что нужно делать—схватил в охапку свой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромася и выпрыгнул в окно.

Очнулся Алеша на краю оврага, перед ним сидел на корточках Ромась и кричал.

Алеша встал на ноги, очумело глядя, как таяла их изба вся в красных стружках, черную землю перед нею лизали алые собачьи языки. Окна дышали черным дымом, на крыше росли, качаясь, желтые цветы.

— Ну, что?—кричал Ромась. Его лицо, облитое

потом, выпачканное сажей, плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталось мочало. Алеша почувствовал огромную радость при виде его, потом ожгла боль в левой ноге, но лег и сказал Ромасю:

— Ногу вывихнул.

Ощупав ногу, Ромась вдруг дернул ее; Алешу хлестнуло острой болью, но через несколько минут, пьяный от радости, прихрамывая, он сносил к бане спасенные вещи, а Ромась, с трубкой в зубах, весело говорил:

— Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку, и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся, очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб, и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч!

Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой, растрепанной Аксинье:

— Сидите тут, стерегите, чтоб не воровали, а я пойду гасить...

В дыму под оврагом летали куски бумаги.

— Эх,—сказал Ромась,—жалко книг! Родные книжки были...

Горело уже четыре избы. Бестолково суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своем, и непрерывно звучал воющий крик:

— Воды-ы!

Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни службы по обе стороны пожарища.

Алеша был настроен радостно, чувствовал себя сильным, как никогда.

В конце улицы он заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе; они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивали руками и палками. С поля, верхами, скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы встречу им, бегали мальчишки.

Загорались службы еще одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи.

— Не трусь!—кричал Ромась.

Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил ее на Алешину голову:

— Рубите с того конца, а я—здесь!

Алеша подрубил один, два кола,—стена закачалась, тогда он влез на нее, ухватился за верх, а Ромась потянул его за ноги на себя, и вся полоса плетня упала, покрыв Алешу почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу.

— Обожглись?—спросил Ромась.

Его заботливость увеличила силы и ловкость Алеши. Ему хотелось отличиться пред этим дорогим для него человеком, и он неистовствовал, лишь бы заслужить его похвалу.

Радостно работал он, не помня себя, и, наконец, выбился из сил. Очнулся он, сидя на земле, прислонясь спиною к чему-то горячему. Ромась поливал его водой из ведра, а мужики, окружив их, почтительно бормотали:—Силенка у робенка!

— Этот—не выдаст...

Алеша прижался головою к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил Алешу по мокрой голове, говоря:

— Отдохните! Довольно.

Два крестьянина, Кукушкин и баринов, закоптезшие, как черти, повели Алешу в овраг, утешая:

— Ничего, брат! Кончилось.

— Испугался?

Алеша не успел еще отлежаться и притти в себя, когда увидал, что в овраг, к их бане, спускается человек десять богачей, впереди их—староста, а сзади его двое сотских ведут под руки Ромася. Ромась без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орал:

— В огонь еретицкую душу!

— Отпирай баню...

— Ломайте замок—ключ потерян,—громко сказал Ромась.

Алеша быстро вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с Ромасем.

Сотские отодвинулись, а староста визгливо, испуганно сказал:

— Православные,—ломать замки не позволено!

Указывая на Алешу, Кузьмин кричал:

— Вот этот еще... кто таков?

— Спокойно, Максимыч,—говорил Ромась.—Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджег лавку.

— Оба вы!

— Ломай!

— Православные...

— Отвечаем!

— Наш ответ...

— Встаньте спиной к моей спине! Чтобы сзади не ударили...—шепнул Ромась.

Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а Алеша, тем временем, незаметно сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой.

— Ничего нет...

— Ничего?

— Ах, дьяволы!

Кто-то робко сказал:

— Напрасно, мужики...

И в ответ несколько голосов буйно, как пьяные, заорали:

— Чего—напрасно?

— В огонь!

— Смутьяны...

— Артели затевают!

— Воры! И компания у них—воры!

— Цыц!—громко крикнул Ромась.—Ну,—видели вы, что в бане у меня товар не спрятан—чего еще надо вам? Все сгорело, осталось—вот: видите? Какая же польза была мне поджигать свое добро?

— Застраховано!

И снова десять глоток яростно заорали:

— Чего глядеть на них?

— Будет! Натерпелись...

У Алеши ноги тряслись, и потемнело в глазах.

Сквозь красноватый туман он видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они орали, прыгая вокруг.

— Ага-а,—колья взяли!

— С кольями!?

— Оторвут они бороду мне,—говорил Ромась, и Алеша чувствовал, что он усмехается.—И вам попадет, Максимыч—эх! Но,—спокойно,—спокойно...

— Глядите, у молодого топор!

У Алеши за поясом штанов действительно торчал плотничный топор. Алеша забыл о нем.

— Как будто трусят,—шепнул Ромась Алеше.—Однако вы топором не действуйте, если что...

Но толпа заметно откатилась, а какой-то маленький, хромой мужичонко, приплясывая, неистово визжал:

— Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!

Он действительно схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его Алеше в живот, но раньше чем Алеша успел ответить, сверху, ястребом, свалился на мужичонка Кукушкин, и они, обнявшись, покатились в овраг. За Кукушкиным прибежал Панков, Баринов и другие сторонники Ромася, и тотчас же вожак богатеев Кузьмин солидно заговорил:

— Ты, Михайло Антонов, человек умный, тебе известно: пожар мужика с ума сводит...

— Пошел прочь, дурак,—ответил Ромась, не взглянув на него. И обращаясь к Алеше, сказал:—Идемте, Максимыч, на берег, в трактир.

Вынул трубку изо рта, резким движением су-

нул ее в карман штанов и, подпираясь колом, устало полез из оврага. Сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу.

— А с яблоками мироеды проиграли дело,—сказал Ромась.

Пришли крестьяне, друзья Ромася. Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг к другу щупающими глазами.

— Что теперь будешь делать, Михаил Антоныч?

— Подумаю.

— Уехать надо тебе отсюда.

— Посмотрю.

— А—не робок ты!—сказал Алеше Панков.—Тебе здесь можно жить, тебя бояться будут.

Вечером Ромась сказал Алеше хмуро и тихо:

— Я вот что, Максимыч, надумал. Продаю здесь все; что осталось, и еду в Вятскую губернию, поселюсь там, поработаю. Приезжайте тогда и вы. Идет?

— Подумаю.

— Думайте.

Он лег на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна, Алеша смотрел на Волгу.

— Сердитесь на мужиков?—спросил Ромась.—Не надо. Они только глупы. Злоба—это глупость.

Слова его не утешали Алешу, не могли смягчить его ожесточения и остроту его обиды. Он все еще видел перед собою звериные, волосатые пасти, извергавшие злой визг:—Кирпичами издаля!

Огромными казались ему злоба и сила кулацкой деревни и трудна борьба за разумную жизнь. В день прощания с Ромасем рассказал он ему свои горькие думы.

— Преждевременно падаете духом, Максимыч,— сказал ему с упреком Ромась.—Не торопитесь осуждать! Осудить — всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном: все проходит, все изменяется к лучшему. Медленно? Зато—прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте все, все надо знать, все надо понять, будьте бесстрашны, но—не торопитесь осудить. До свиданья, дружище!

СТРАНСТВИЯ

Когда Ромась уехал из Красновидова, Алеша затосковал и заметался по селу, точно кутенок, потерявший хозяина. Они ходили с Бариновым по деревням, работали у богатых мужиков, молотили, рыли картофель, чистили сады. Жили в бане. Однажды дождливой ночью Баринов сказал Алеше:

— Лексей Максимыч, воевода без народа! Едемка на море, а? Ей-богу! Чего тут? Не любят здесь нашего брата, эдаких. Еще—того, как-нибудь, под пьяную руку...

Поехали по Волге, сперва ехали на пассажирском, потом на барже с матросами, и через семь дней были на Каспии, в небольшой артели рыболовов, на калмыцком промысле. Что наработали, то и проели, а наступили меж тем холода. Разойдясь с товарищем, стал Алеша пробираться на север. Где пешком шел, где в телегу подсаживался к крепким и широким мужикам, продававшим арбузы. А раз забрался в теплушку к быкам. Надышали быки тепло, соблазнительно показалось Алеше. И верно—отогрелся. Но в дороге оказалось, что быки были

крайне плохо воспитаны, вели себя неприлично, толкали пассажира, кто как мог, и всю дорогу старались причинить ему всевозможные неприятности. Когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали. Алеша, улучив момент, вскарабкался на одного из них и, несмотря на недовольство быка, так и ехал верхом всю дорогу, не слезая.

На станции Добринка Алеше посчастливилось: дали ему место ночного сторожа погрузного двора. Дежурить он должен был с шести часов вечера до шести часов утра—охранять мешки, брезент, щиты, шпалы и дрова от расхищения местными жителями.

Пришлось как-то раз караулить темной осенней ночью груду мешков с мукой. Погода стояла отвратительная, дул холодный ветер, шел проливной дождь. В степи тьма непроглядная, точно чернила. Вдруг ветром сорвало брезент с груды мешков. Делать нечего, пришлось лезть на груду, закрывать мешки. И вот наверху-то горы закрутило Алешу ветром, завернуло в брезент и бросило на полотно. Ударился он о рельсы до того сильно, что и себя не помнил, а потом вся шея так распухла, что едва его не задушило. После операции первое время и говорить-то ничего не мог. Говорить начал недели три спустя после этого, да и то шопотом. Думал, что навсегда голос потерял, но месяца через четыре заговорил, да только не прежним тенором, а—басом.

Но хоть и без голоса, а дежурить надо. Ходи с палкой в руке вокруг пакгаузов. Со степи дует ветер, несутся тучи снега, ползут, точно вздыхая и лязгая, поезда в белую холодную даль.

А когда Алеша после бессонной ночи сменялся с дежурства, кухарка начальника станции заставляла его выносить помои, колоть и таскать дрова, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью и делать еще многое, что поглощало почти половину дня, не оставляя времени для чтения и сна.

Кухарка Маремьяна сильно не взлюбила за что-то Алешу и откровенно грозила ему:

— Затираню до того, что на Кавказ сбежишь...

Кавказ или что другое, но Алеша ждал только весны. В зимние ночи во время дежурства все сильнее разгоралось желание: заглянуть всюду, посмотреть, как люди живут, что за народ вокруг. Тянуло странствовать по земле. Книги говорили ему о сильных и благородных героях, а в жизни постоянно видел он грубых скотов. Нужно знать, что правда, что нет. «Все надо знать, все надо понять»,—вспоминал он слова Ромася.

Как только стаял снег, Алеша ушел со станции и стал бродить по дорогам России, как перекати-поле. Обошел Волгу, Дон, Украину, побывал и в родном городе Нижнем на призыве.

В солдаты его не взяли; толстый веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь, точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев его:

— Дырявый, пробитое легкое насквозь. Негоден!

В следующую весну Алеша пробирался уже через Украину в Бессарабию.

По дороге в монастыри заходил, хотел знать, чем там люди живут. Попал даже к схимнику

одному. Келья схимника была вырыта под землей. Было темно и сыро. Схимник поставил Алешу на колени и долго говорил ему о боге. Выбравшись от него, Алеша подумал:

— Зарылся старик в землю, как крот, и думает, что он ближе к богу, чем люди, живущие под открытым небом. Не поможет мне шляние по монастырям!

За «шляние» денег Алеше никто не платил, а потому голодал он нередко. Работал, где придется. Подработает и—дальше. Выйдет весь запас—опять становись на работу.

В Бессарабию Алеша попал к сбору винограда. Работа была славная, народ чудесный. Молдаване—бронзовые, с пышными черными усами и густыми кудрями до плеч, женщины—веселые, гибкие, с темносиними глазами, тоже бронзовые.

Однажды вечером после дневного сбора ушли все с песнями и смехом на берег моря. Алеша остался под густой тенью виноградных лоз. К нему подошла старая молдаванка Изергиль.

— Что ты не пошел с ними?—кивнув головой, спросила она.

— Не хочу,—ответил Алеша.

— У! Стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

С моря доносились голоса чистые, сильные и звонкие.

— Слышал ли ты, чтобы где-нибудь еще так пели?—спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

— Не слыхал. Никогда не слыхал...—пробормотал Алеша в восхищении.

— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавицы могут хорошо петь,—красавицы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже—поют... Вот как нужно жить...

Алеша вспомнил свою юность, свои горькие скитания по чужим людям, тяжелую убогую жизнь русского простолюдина и от души позавидовал веселым и сильным людям этого теплого края.

Когда он рассказал свои мысли Изергиль, она ответила:

— Не должно быть горя. Людям нужно хорошо жить, хорошо любить и смеяться. Богатырь Данко показал людям дорогу к счастью, и не должны люди забывать его.

— Какой Данко?—спросил Алеша.

— Я расскажу тебе про него. Это старая сказка...

«Жил на земле в старину один народ; непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этого народа, а с четвертой—была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один

за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и затосковали. Нужно было уйти из этого леса, и для того было две дороги: одна—назад,—там были сильные и злые враги; другая—вперед, там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. И страшно было, когда ветер бил по вершинам деревьев, и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Люди сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... И ослабли люди от тоскливых дум... Страх покорил их, сковал им крепкие руки, женщины в ужасе плакали над трупами умерших от смрада и над судьбой живых, и вот трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче... Уж хотели итти к врагу и покориться... Но тут явился смелый Данко, молодой красавец, и спас всех один. Он сказал своим товарищам: «Не своротить камня с пути думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу и тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец. Идемте! Ну! Гей!» Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня. «Веди ты нас!» сказали они. Тогда он повел. Дружно все пошли за ним,—верили в него. Трудный

путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови. Долго шли они... Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди них и был бодр и ясен. Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди, между больших деревьев и в грозном шуме молний шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. В злобе и гневе обрушились они на Данко, который шел впереди всех. «Ты,—сказали они,—ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!» «Вы сказали: «веди»...—и я повел,—крикнул Данко, становясь против них грудью.—Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!» Но эти слова разъярили их еще более. «Ты умрешь! Ты умрешь!» ревели они. Данко смотрел на тех, ради которых он понес столько труда, и видел, что они—как звери. Много

людей стояло вокруг него, и по лицам их видел Данко, что не будет ему от них пощады. В его сердце вскипело негодование, но Данко подавил его в себе. Он любил людей и даже в эту минуту не мог их оставить на гибель. Вспыхнуло его сердце огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А люди, увидя, как ярко разгорелись его очи, насторожились, как волки, думая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. Еще ярче загорелось в нем сердце.

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь. «Что сделаю я для людей?..» сильнее грома крикнул Данко. И вдруг он разорвал руками себе грудь, вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, ярче солнца. И весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви. Люди же, изумленные, стали как камни. «Идем!» крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные, бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко был все впереди, и сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза

была—там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя, и золотом сверкала река... А из разорванной груди Данко горячей струей била кровь.

Кинул он взор вперед себя на ширь степи, кинул радостный взор на свободную и счастливую землю и засмеялся гордо. А потом упал и—умер. Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце...»

Кончив сказку, старуха задремала, а Алеша в радостном возбуждении думал о правде смелых и сильных, отдающих свою жизнь за счастье всех людей. И так ли мрачна жизнь, если есть такие люди? Нужно бороться!

В степи было тихо и темно, море глухо шумело. Алеша лег на землю, прикрылся и крепко заснул, словно вымытый и ободренный хорошею сказкой. На другой день кончилась работа, и Алеше предстоял дальнейший путь. Пересекая Бессарабию, добрался он и до Дуная, границы России. Однажды заночевал он на берегу Черного моря, близ цыганского табора. С моря дул влажный холодный ветер, раздувая костер. Слева безграничная степь, справа бесконечное море, а у костра старый цыган, Макар Чудра. Он сторожил покой своего табора и разговаривал с Алешей. То, что Алеша пришел из далекой России, его нимало не удивило.

— Так ты ходишь?—говорил он,—это хорошо... Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и—смотри, насмотрелся—ляг и умирай. Вот и все! Я вот, смотри, в пятьдесят восемь лет столь-

ко видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди—и все тут.

И старый цыган, неисправимый бродяга, долго рассказывал Алеше разные истории с наказом помнить о том, что век свой нужно жить свободною птицей.

Потом Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев сидящих у костра большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая их плотным кольцом.

— Гоп, гоп, эгой!—крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь к Алеше:

— Спать пора!

Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

НОВЫЙ ЗНАКОМЕЦ

Близилась осень, и Алеша, полный впечатлений, напитавшись ими, как пчела медом, стал подумывать о предстоящей зиме. Забрел он за весну и лето далеко. Пора было держать обратный путь. На обратном пути Алеша не отходил от моря. Жил с рыбаками на курене, но все тяжелее доставался заработок. По всему южному берегу бродили

босяки, пришедшие из деревень и городов для трудной, но вольной скитальческой жизни. Их нанимали на все работы, но побаивались, зная их беспокойный нрав.

Придя в Одессу, Алеша с партией босяков нанялся на разгрузку пароходов в порту. Звон якорных цепей, грохот вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падавших на камень мостовой, дребезжание телег, свистки пароходов, крики грузчиков и матросов — все сливалось в оглушительную музыку трудового дня. Люди, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегали то туда, то сюда в тучах пыли. Шум подавлял, пыль, раздражая ноздри, слепила глаза; зной пек тело и изнурял его. И среди этой сутолоки и гомона Алеша заметил человека, с которым ему суждено было довольно близко познакомиться.

С виду это был молодой барчук. На нем был модный клетчатый костюм и черная шляпа, в руках палка с набалдашником. Что он делал в порту, Алеше было непонятно. Он даже положительно необъясним был там, в гавани, среди свиста пароходов и локомотивов, звона цепей и крика рабочих. Все были озабочены, утомлены, все бегали в пыли и поту, кричали, ругались, а эта фигура тут же медленно расхаживала с мертвенно-скучным лицом, равнодушная ко всему, всем чужая.

Алеше незнакомец был любопытен, но ему, в костюме босяка, с лямкой грузчика на спине и перепачканному в угольной пыли, трудно было вы-

звать такого франта на разговор. Знакомство завязалось неожиданно. Расположившись недалеко от него с арбузом и хлебом, Алеша с удивлением заметил, что незнакомец не отрывает от него глаз, с жадностью глядя на его неприхотливый обед. Быстро оглянувшись вокруг, Алеша спросил его тихонько:

— Хотите есть?

Тот вздрогнул, алчно оскалил чуть не сотню плотных здоровых зубов и тоже подозрительно оглянулся. Тогда Алеша сунул ему пол-арбуза и кусок пшеничного хлеба. Тот схватил все это и исчез, присев за груду товара. Иногда оттуда высовывалась его голова в шляпе, сдвинутой на затылок. Его лицо блестело от широкой улыбки, и он почему-то подмигивал Алеше, ни на секунду не переставая жевать.

— Благодару! Очэн благодару!—Он потряс Алешу за плечо, потом схватил его руку, стиснул ее и тоже жестоко стал трясти. Через пять минут он уже рассказывал Алеше о себе.

Грузин, князь Шакро Птадзе, сын богатого помещика на Кавказе, он служил конторщиком на Закавказской железной дороге. Товарищ, с которым он вместе жил, исчез, обокрав его. Шакро пустился его догонять. Узнав, что он уехал в Батум, Шакро отправился туда же. Но в Батуме оказалось, что товарищ поехал в Одессу. Шакро взял чужой паспорт и тоже поехал в Одессу. Товарища он не нашел, деньги все проел и вот уже вторые сутки не ел ни крошки.

Алеша слушал его рассказ, перемешанный с ру-

гательствами, смотрел на него, верил ему, и ему стало жалко незнакомца. Тот часто и с глубоким негодованием упоминал о крепкой дружбе, связывавшей его с вором-товарищем, укравшим такие вещи, за которые суровый отец Шакро «зарэжэт» сына кинжалом, если сын не найдет их. Алеша подумал, что если не помочь этому человеку, то он пропадет, и он решил помочь. Он предложил сперва сходить в полицию, просить билет на пароход. Шакро засмеялся и сказал, что не пойдет. Почему? Оказалось, что он не заплатил денег хозяину гостиницы, а когда с него потребовали денег, ударил кого-то, да кстати он и не твердо помнит—один удар или два, три или четыре нанес он.

Положение осложнялось. Алеша решил, что будет работать, пока не заработает ему на билет до Батума. Но увы! Оказалось, что это случилось бы не очень скоро, ибо Шакро ел за троих и даже больше. Из восьмидесяти копеек заработка они вдвоем проедали шестьдесят. К тому же надо было подумать о приближавшейся зиме. В Одессе же ему оставаться было невозможно. Тогда он предложил князю Шакро пойти пешком на таких условиях: если Алеша не найдет ему попутчика до Тифлиса, то сам доведет его, а если найдет, то Алеша пойдет своей дорогой.

Князь посмотрел на свои щегольские ботинки, на шляпу, на брюки, погладил курточку, подумал, вздохнул не раз и, наконец, согласился. И вот два путешественника отправились из Одессы в Тифлис.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ВЕРСТ

Из Одессы пошли в Николаев. Шли семь дней, тратя последние деньги, заработанные Алешей в Одессе. В Николаеве Алеша надеялся достать работу, но обманулся в своих ожиданиях. Работы не было. Пошли на Херсон. Пока Алеша кормил своего спутника, тот был очень весел и болтал без умолку. Вышли деньги,—и Шакро впал в уныние. Теперь все рассказы его были о том, как он ел на Кавказе. Оказывалось, что он, позавтракав в двенадцать часов «маленьким барашкэм», с тремя бутылками вина, в два часа мог без особых усилий съедать за обедом три тарелки какой-то «чахахбили» или «чихиртмы», миску пилава, шампур[1] шашлыка, «сколки хочишь толмы» и еще много разных кавказских яств, и при этом выпивал вина—«сколки хотэл». Он рассказывал, чмокая, с горящими глазами, оскалив зубы, скрипя ими, звучно втягивая в себя и глотая голодную слюну.

Алеше становилось противно. Он спорил с голодным обжорой, а тот кричал ему:

— Молчи, Алэксэй! Ты не знаешь кавказской жизни!

Когда Алеше удавалось кое-что заработать и он делился с товарищем, Шакро бывал очень доволен.

Князь говорил, что и он тоже будет работать и что, заработав денег, они поедут морем до Батума. В Батуме у него много знакомых, и он сразу найдет Алеше место дворника или сторожа. Он

---

[1] Шампур — железный прут, на котором жарят шашлык.

хлопал Алешу по плечу и покровительственно говорил, сладко прищелкивая языком:

— Я тэбэ устрою т-такую жизнь! Цце, цце! Вино будэшь пить—сколько хочэшь, баранины—сколько хочэшь! Женишься на грузынкэ, на толстой грузынкэ, цце, цце, цце!.. Она тэбэ будэть лаваш печь, дэтэй родить, много дэтэй, цце, цце!

Это «цце, цце!» сначала удивляло Алешу, потом стало раздражать, потом уже доводило до тоскливого бешенства. В России таким звуком подманивают свиней, на Кавказе им выражают восхищение, сожаление, удовольствие, горе.

Шакро уже сильно потрепал свой модный костюм, и его ботинки лопнули во многих местах. Трость и шляпу путники продали в Херсоне. Вместо шляпы Шакро купил себе старую фуражку железнодорожного чиновника.

Когда он в первый раз надел ее на голову,—надел сильно набекрень,—то серьезно спросил Алешу:

— Идэт на мэна? Красыво?

Снова вышли все деньги и зарабатывать было негде. Нужно было итти в Феодосию, там в то время начались работы по устройству гавани. Но до Феодосии было дьявольски далеко.

Алеша мечтал о южном береге Крыма, князь напевал сквозь зубы странные песни, был хмур.

Но вот путники прошли Перекоп, Симферополь и направились к Ялте. Алеша шел в немом восхищении перед красотой этого куска земли, ласкаемого морем. Князь вздыхал, горевал и, бросая вокруг себя печальные взгляды, пытался набивать свой пустой желудок какими-то странными ягода-

ми. Знакомство с их питательными свойствами не всегда сходило ему с рук благополучно, и часто он свирепо говорил Алеше:

— Если мэна вывэрнэт наизнанку, как пойду дальшэ? а? Скажи—как?

Возможности что-либо заработать не представлялось, и путники, не имея ни гроша на хлеб, питались фруктами и надеждами на будущее. А Шакро начинал уже упрекать Алешу в лени и в—«роторазэвайствэ», как он выражался. Он вообще становился тяжел, но больше всего угнетал Алешу рассказами о своем баснословном аппетите.

Как-то раз, около Ялты, Алеша нанялся вычистить фруктовый сад от срезанных сучьев, взял вперед за день плату и на всю полтину купил хлеба и мяса. Когда он принес купленное, его позвал садовник, и Алеша ушел, сдав покупки эти Шакро, который отказался от работы под предлогом головной боли.

Возвратившись через час, Алеша убедился, что Шакро, говоря о своем аппетите, говорил правду; от купленного не осталось ни крошки. Это был не товарищеский поступок, но Алеша смолчал и напрасно, как оказалось впоследствии. Шакро, заметив молчание товарища, воспользовался им по-своему. С этого дня началось нечто удивительно нелепое. Один работал, а другой, под разными предлогами отказываясь от работы, ел, спал и понукал того, кто работал. Алеше было смешно и грустно смотреть на этого здорового парня. Когда он, усталый, возвращался, кончив работу, Шакро, дожидавшийся где-нибудь в тенистом уголке, жад-

но щупал его глазами. Но еще грустнее и обиднее было видеть, что князь смеется над ним за то, что он работает.

Князь выучился просить Христа ради. Когда он начал сбирать милостыню, то сперва стеснялся Алеши. Но потом, когда им случалось подходить к татарской деревушке, Шакро начал на его глазах подготовляться к сбору. Для этого он опирался на палку и волочил ногу по земле, как будто она у него болела. Он знал, что скупые татары не подадут здоровому парню. Алеша спорил с ним, доказывая ему постыдность такого занятия.

— Я не умею работать!—кратко возражал Шакро.

Ему подавали скудно. Алеша в то время начинал прихварывать. Путь становился труднее день ото дня, а Шакро все несносней. Он теперь уж настоятельней требовал, чтобы Алеша его кормил.

— Ты мэнэ вэдешь? Вэди! Разве можно так далэко мнэ итти пэшком? Я нэ привык. Я умэрэть могу от этого! Что ты мэнэ мучаишь, убиваишь? Эсли я вумру, как будит всэ? Мать будыт плакать, атэц будыт плакать, товарищы будут плакать! Сколько это слез?

Иногда они расходились дня на два, на три в разные стороны; Алеша снабжал товарища хлебом и деньгами, если они были, и уславливался, где встретиться. Когда они сходились снова, то Шакро, проводивший Алешу подозрительно и с грустной злобой, встречал радостно, торжествующе и всегда, смеясь, говорил:

— Я думал, ты убэжал адын, бросил мэна! Ха, ха, ха!..

Однако после каждого возвращения к нему Алеша все больше и ниже падал в его мнении, и Шакро не умел скрывать этого.

Дела путников шли нехорошо. Алеша еле находил возможность заработать рубль—полтора в неделю, и, разумеется, этого было слишком мало двоим. Сборы Шакро не делали экономии в пище. Его желудок был маленькою пропастью, поглощавшей все без разбора,—виноград, дыни, соленую рыбу, хлеб, сушеные фрукты,—и от времени пропасть эта как бы все увеличивалась в объеме и все больше требовала жертв.

Шакро стал торопить Алешу уходить из Крыма, резонно заявляя, что уже—осень, а путь еще далек...

Алеша согласился с ним. К тому же он успел посмотреть эту часть Крыма, и они пошли на Феодосию в чаянии «зашибить деньгу». Пошли берегом, хотя это был длиннейший путь, но Алеше хотелось надышаться морем.

Феодосия обманула ожидания путников. Там было около четырехсот человек, чаявших, как и они, работы и тоже вынужденных праздно околачиваться у строящегося мола. Работали турки, греки, грузины, смоленцы, полтавцы. В России был голодный год, и бедняки партиями тянулись на юг. Всюду—и в городе, и вокруг него—бродили группами серые, удрученные фигуры и рыскали волчьей рысью азовские и таврические босяки.

На Керчь пошли уже не берегом, а степью, в видах сокращения пути; в котомке у путников была всего только одна большая ячменная лепешка, куп-

ленная у татарина на последний пятак. Попытки Шакро просить хлеба по деревням не приводили ни к чему, везде кратко отвечали: «Много вас!..»

Шакро терпеть не мог «голодающих»—конкурентов ему в сборе милостыни. Еще издали видя их, он говорил:

— Опэт идут! Фу, фу, фу! Чэго ходят? Чэго едут? Развэ Россыя тэсна? Нэ понымаю! Очень глупый народ Россыи!

И когда Алеша объяснял ему, что ходить по Крыму глупый русский народ заставляет неурожай, он, недоверчиво качая головой, возражал:

— Нэ понимаю! Какы можна!.. У нас в Грузии не бывает таких глупостэй!

Пришли в Керчь поздно вечером и принуждены были ночевать под мостками с пароходной пристани на берег. Спрятаться не мешало: из Керчи незадолго до того был вывезен весь лишний народ—босяки. Наши путники побаивались, что попадут в полицию; а так как Шакро путешествовал с чужим паспортом, то это могло повести к серьезным осложнениям.

Волны прилива всю ночь щедро осыпали их брызгами, на рассвете они вылезли из-под мостков мокрые и иззябшие. Целый день ходили по берегу, и все, что удалось заработать,—это гривенник, полученный Алешею с какой-то попадьи, которой он отнес мешок дынь с базара. Нужно было переправиться через пролив в Тамань. Ни один лодочник не соглашался взять их гребцами на тот берег, как Алеша ни просил об этом. Все были восстановлены против босяков. А наших товарищей,

не без основания, причисляли к той же категории.

Когда настал вечер, Алеша, со зла на свои неудачи, решился на рискованную штуку.

Ночью он и Шакро тихонько подошли к таможенной брандвахте, около которой стояли три шлюпки, привязанные цепями к кольцам, ввинченным в каменную стену набережной. Было темно, дул ветер, шлюпки толкались одна о другую, цепи звенели... Алеше было удобно раскачать кольцо и выдернуть его из камня.

Над ними ходил таможенный солдат-часовой и насвистывал сквозь зубы. Когда он останавливался близко к ним, Алеша прекращал работу, но это, пожалуй, было излишней предосторожностью. Мог ли солдат предположить, что внизу человек сидит по горло в воде? К тому же цепи звучали беспрерывно и без Алешиной помощи.

Кольцо выдернуто... Волна подхватила лодку и отбросила ее от берега. Алеша держался за цепь и плыл рядом с лодкой, потом влез в нее. После этого сняли две настовые доски и, укрепив их в уключинах, вместо весел, поплыли...

Играли волны, и Шакро, сидевший на корме, то пропадал во тьме, проваливаясь вместе с кормой, то высоко подымался и, крича, почти падал на Алешу. Тот посоветовал ему не кричать, если Шакро не хочет, чтобы часовой услыхал его. Тогда Шакро замолчал. Алеша видел белое пятно на месте его лица. Он все время держал руль. Переменяться ролями было некогда, и переходить по лодке с места на место было опасно. Алеша кричал ему, как ставить лодку, и Шакро, сразу понимая,

делал все так быстро, как будто родился моряком.

Доски, заменявшие весла, не помогли Алеше. Ветер дул в корму, и Алеша мало заботился о том, куда несет лодку, стараясь только, чтобы нос стоял поперек пролива. Это было легко установить, так как еще были видны огни Керчи. Волны заглядывали через борт и сердито шумели; чем дальше выносило лодку в пролив, тем они становились выше. Вдали слышался уже рев, дикий, грозный... А лодка все неслась—быстрее и быстрее, было очень трудно держать курс. Она то и дело проваливалась в глубокие ямы и взлетала на водяные бугры, а ночь становилась все темней, тучи опускались ниже.

Огни за кормой пропали во мраке, и тогда стало страшно. Казалось, что пространство гневной воды не имело границ. Ничего не было видно, кроме волн, летевших из мрака. Они вышибли у Алеши из рук одну доску, он сам бросил другую на дно лодки и крепко схватился обеими руками за борта. Шакро выл диким голосом каждый раз, как лодка подпрыгивала вверх. Потеряв надежду, охваченный злым отчаянием, Алеша видел вокруг только громадные волны с беловатыми гривами, рассыпавшимися в соленые брызги, и тучи над ним, густые, лохматые, тоже похожие на волны...

— Поставим парус!—крикнул Шакро.

— Где он?

— Из моего чекмэня...

— Бросай его сюда! Не выпускай руля!..

Шакро молча завозился на корме.

— Дэржы!..

Он бросил свой чекмень. Кое-как, ползая по дну лодки, Алеша оторвал от наста еще доску, надел на нее рукав плотной одежды, поставил ее к скамье лодки, припер ногами и только что взял в руки другой рукав и полу, как случилось нечто неожиданное...

Лодка прыгнула как-то особенно высоко, потом полетела вниз, и Алеша очутился в воде, держа в одной руке чекмень, а другой уцепившись за веревку, протянутую по внешней стороне борта. Волны с шумом прыгали через его голову, он глотал солено-горькую воду. Она наполняла уши, рот, нос... Крепко вцепившись руками в веревку, он поднимался и опускался на воде, стукаясь головой о борт, и, вскинув чекмень на киль лодки, старался вспрыгнуть на него сам. После десятка тщетных усилий, это ему, наконец, удалось, он оседлал лодку и тотчас же увидел Шакро, который кувыркался в воде, уцепившись обеими руками за ту же веревку, которую Алеша только что выпустил. Она, оказалось, обходила всю лодку кругом, продетая в железные кольца бортов.

— Жив!—крикнул Алеша.

Шакро высоко подпрыгнул над водой и также брякнулся на перевернутую лодку. Алеша подхватил его, и они очутились лицом к лицу. Алеша сидел на лодке, точно на коне, всунув ноги в бечевки, как стремена,—но это было безнадежно: любая волна легко могла выбить его из седла. Шакро уцепился руками за его колени и ткнулся головой ему в грудь. Князь весь дрожал, и Алеша чувствовал, как тряслись его челюсти.

Нужно было что-то делать! Дно было скользко, точно смазанное маслом. Алеша сказал Шакро, чтоб он спускался снова в воду, держась за веревки с одного борта, а сам он также устроится на другом. Вместо ответа, Шакро стал толкать его головой в грудь. Волны в дикой пляске то и дело прыгали через них, и они еле держались; одну ногу Алеше страшно резало веревкой. Со всех сторон вздымались высокие бугры воды и с шумом исчезали.

Алеша повторил сказанное уже тоном приказания. Шакро еще сильнее стал стукать его своей головой в грудь. Медлить было нельзя. Алеша оторвал от себя его руки одну за другой и стал толкать его в воду, стараясь, чтоб он задел своими руками за веревки. И тут произошло нечто, испугавшее Алешу больше всего в эту ночь.

— Топишь мэня?—прошептал Шакро и взглянул Алеше в лицо.

Это было, действительно, страшно!

Страшен был его вопрос, еще страшнее тон вопроса, в котором звучали и робкая покорность, и просьба пощады, и последний вздох человека, потерявшего надежду избежать рокового конца. Но еще страшнее были глаза на мертвенно-бледном мокром лице!..

Алеша крикнул ему:—Держись крепче!—и спустился в воду сам, держась за веревку. Он ударился обо что-то ногой и в первый момент не мог ничего понять от боли. Но потом понял. В нем вспыхнуло что-то горячее, он опьянел и почувствовал себя сильным, как никогда...

— Земля!—крикнул он.

Может быть, великие мореплаватели, открывавшие новые земли, кричали при виде их это слово с бо́льшим чувством, чем Алеша, но вряд ли они могли кричать громче. Шакро завыл, и оба бросились в воду. Но оба быстро охладели; воды было еще по грудь, и нигде не виделось каких-либо более существенных признаков сухого берега. Волны здесь были слабее и уже не прыгали, а лениво перекатывались через их головы. К счастью, Алеша не выпустил из рук шлюпки. Они стали по ее бортам и, держась за спасительные веревки, осторожно пошли куда-то, ведя за собой лодку.

Шакро бормотал что-то и смеялся. Алеша озабоченно поглядывал вокруг. Было темно. Сзади и справа шум воды был сильнее, впереди и влево тише. Они пошли влево. Почва была твердая, песчаная, но вся в ямах. Иногда они не доставали дна и гребли ногами и одной рукой, другой держась за лодку; иногда воды было только по колено. На глубоких местах Шакро выл, а Алеша дрожал в страхе. И вдруг—спасение!—впереди засверкал огонь... Шакро заорал, что есть мочи. Но Алеша твердо помнил, что лодка казенная и что вести себя следует тихо. Он тотчас же заставил и Шакро вспомнить об этом. Тот замолчал, но через несколько минут раздались его рыдания. Алеша не мог успокоить его—нечем было.

Воды становилось все меньше... по колено... по щиколотки... Тащить лодку больше не стало сил, бросили ее. На пути лежала какая-то черная коряга. Перепрыгнули через нее—и оба босыми ногами по-

пали в какую-то колючую траву. Это было больно и со стороны земли—негостеприимно. Однако было не до того. Они побежали на огонь, который в версте от них весело пылал и, казалось, смеялся им навстречу.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Три громадные, кудластые собаки, выскочив откуда-то из тьмы навстречу бегущим, бросились на них. Шакро, все время судорожно рыдавший от боли, взвыл и упал на землю. Алеша швырнул в собак мокрым чекменем и наклонился, шаря рукой камня или палки. Ничего не было, только трава колола руки. Собаки дружно наскакивали. Алеша засвистал, что есть мочи, вложив в рот два пальца. Они отскочили и тотчас же послышался топот и говор бегущих людей.

Через несколько минут оба были у костра в кругу четырех чабанов, одетых в овчины шерстью вверх. Двое чабанов сидели на земле и курили, третий—высокий, с густой черной бородой и в казацкой папахе—стоял сзади, опершись на палку, четвертый, молодой, русый парень, помогал плачущему Шакро раздеваться. Вся земля на большом пространстве была покрыта толстым пластом чего-то густого, серого и волнообразного. Только долго и пристально всматриваясь, можно было разобрать отдельные фигуры овец, плотно прильнувших одна к другой. Их было тут несколько тысяч,—теплый и толстый пласт, покрывавший степь... Иногда они блеяли жалобно и пугливо.

Алеша сушил чекмень над огнем и говорил чабанам все по правде, рассказал и о способе, которым добыл лодку.

— Где же она, та лодка?—спросил Алешу суровый седой старик, не сводивший с него глаз.

Алеша сказал.

— Пойди, Михал, взглянь!..

Чернобородый Михал вскинул палку на плечо и отправился к берегу. Шакро, дрожавший от холода, попросил Алешу дать ему теплый, но еще мокрый чекмень, но старик сказал:

— Годи! Побегай прежде, чтоб разогреть кровь. Беги круг костра, ну!

Шакро сначала не понял, но потом вдруг сорвался с места и, голый, начал танцовать дикий танец, мячиком перелетая через костер, кружась на одном месте, топая ногами о землю, крича во всю мочь, размахивая руками. Это была уморительная картина. Двое чабанов покатывались по земле, хохоча во все горло, а старик с серьезным, невозмутимым лицом старался отбивать ладонями такт пляски, но не мог его уловить. Он присматривался к танцу Шакро, качая головой и шевеля усами, и все покрикивал густым басом:

— Гай-га! Так так! Гай-га! Буц, буц!

Освещенный огнем костра, Шакро извивался змеей, прыгал на одной ноге, выбивал дробь обеими, и его блестящее в огне тело покрывалось крупными каплями пота, которые казались красными, как кровь.

Теперь уже все трое чабанов били в ладони, Алеша, дрожа от холода, сушился у костра и думал,

что такие приключения сделали бы счастливым какого-нибудь поклонника Купера и Жюля Верна: кораблекрушение и гостеприимные аборигены, и пляска дикаря вокруг костра... Но как еще обернется дело? Алеша чувствовал себя в совершенной зависимости от этих непонятно еще для него настроенных людей.

Шакро уже сидел на земле, закутанный в чекмень, и поглядывал на Алешу черными глазами, в которых искрилось что-то странное и неприятное, когда вернулся Михал.

Он пришел и молча сел рядом со стариком.

— Ну?—спросил старик.

— Есть лодка!—кратко сказал Михал.

— Ее не смоет?

— Нет!

И они все замолчали, разглядывая Алешу.

— Что ж,—спросил Михал, ни к кому собственно не обращаясь,—свести их в станицу к атаману?—А может,—прямо к таможенным?

На сердце у Алеши заскребли кошки. Посмотрел на Шакро. Шакро спокойно что-то ел.

— Можно к атаману свести... и к таможенным тоже... И то гарно, и другое,—сказал, помолчав, старик.

— Погоди, дед...—начал было Алеша.

Но он не обратил на него никакого внимания.

— Вот так-то! Михал! Лодка там?

— Эге, там...

— Что ж... ее не смоет вода?

— Ни... не смоет.

— Так и пускай ее стоит там. А завтра лодоч-

ники поедут до Керчи и захватят ее с собой. Что ж бы им не захватить пустую лодку? Э? Ну, вот... А теперь вы... хлопцы-рванцы... того.. як его? Не боялись вы оба? Нет? Те-те!.. А еще бы полверсты, то и быть бы вам в море. Что ж бы вы поделали, коли б выкинуло в море? А? Утонули бы, как топоры, оба!.. Утонули бы, и—все тут.

Старик замолчал и с насмешливой улыбкой в усах взглянул на Алешу.

— Что ж ты молчишь, парнюга?

Алеше надоели рассуждения старика, которые он, не понимая, принимал за издевательство.

— Да вот слушаю тебя!—сердито ответил он.

— Ну, и что ж?—поинтересовался старик.

— Ну, и ничего.

— А чего ж ты дразнишься? Разве то порядок дразнить старшего, чем сам ты?

Алеша промолчал.

— А есть ты не хочешь?—продолжал старик.

— Не хочу.

— Ну, не ешь. Не хочешь—не ешь. А, может, на дорогу взял бы хлеба?

Алеша вздрогнул от радости, но не выдал себя.

— На дорогу взял бы...—спокойно сказал он.

— Эге!.. Так дайте ж им на дорогу хлеба и сала, там... А может, еще что есть? то и этого дайте.

— А разве ж они пойдут?—спросил Михал.

Остальные двое подняли глаза на старика.

— А чего ж бы им с нами делать?

— Да ведь к атаману мы их хотели... а то—к таможенным...—разочарованно заявил Михал.

Шакро завозился около костра и с любопытством

высунул голову из чекменя. Он был спокоен.

— Что ж им делать у атамана? Нечего, пожалуй, им у него делать. После уж они пойдут к нему... коли захотят.

— А лодка как же?—не уступал Михал.

— Лодка?—переспросил старик.—Что ж лодка? Стоит она там?

— Стоит...—ответил Михал.

— Ну, и пусть ее стоит. А утром Ивашка сгонит ее к пристани... там ее возьмут до Керчи. Больше и нечего делать с лодкой.

— А не вышло бы греха какого, часом...—начал сдаваться Михал.

— Коли ты не дашь воли языку, то греха не должно бы, пожалуй, выйти. А если их довести до атамана, то это, думаю я, беспокойно будет и нам, и им. Нам надо свое дело делать, им—итти.—Эй! далеко еще вам итти?—спросил старик, хотя Алеша уже говорил ему, как далеко.

— До Тифлиса...

— Много пути! Вот видишь, а—атаман задержит их; а коли он задержит, когда они придут? Так уж пусть же они идут себе, куда им дорога. А?

— А что ж? Пускай идут!—согласились товарищи старика.

— Ну, так идите же к богу, ребята!—махнул рукой старик.

— Спасибо тебе, дед!—скинул Алеша шапку.

— Да за что ж спасибо?—Вот чудно! Я говорю—идите к богу, а он мне—спасибо! Разве ты боялся, что к дьяволу тебя пошлю, э?

— Был грех, боялся!..—сказал Алеша.

— О!..—и старик поднял брови.—Зачем же мне направлять человека по дурному пути? Уж лучше я его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть, еще встретимся, так уж—знакомы будем. Часом помочь друг другу придется... До свидки!..

Он снял свою мохнатую баранью шапку и поклонился. Поклонились и его товарищи. Путники спросили дорогу и пошли.

Шакро смеялся над чем-то...

— Ты что смеешься?—спросил Алеша.

Шакро хитро подмигнул ему глазом и расхохотался еще сильней. Алеша тоже улыбался, слыша его веселый здоровый смех. Отдых у костра, вкусный хлеб с салом, чудесный рассвет—все это заслонило собой превратности утомительного путешествия, от которого осталась только легонькая ломота в костях.

— Ну, чего ж ты смеешься? Рад, что жив остался, да? Жив, да еще и сыт?

Шакро отрицательно мотнул головой, толкнул Алешу локтем в бок, сделал ему гримасу, снова расхохотался и, наконец, заговорил:

— Нэ панымаишь, почэму смэшно? Нэт? Сэчас будишь знать! Знаишь, что я сдэлал бы, когда бы нас повэли к этому атаману-таможану? Нэ знаишь? Я бы сказал про тэбя: он мэня утопить хотэл! И стал бы плакать. Тогда бы мэня стали жалэть и не посадыли бы в турму! Панымаишь?

Алеша хотел сначала понять это как шутку, но Шакро основательно и ясно стал убеждать его в серьезности своего намерения.

Тогда Алеша с жаром пустился было доказы-

вать ему всю чудовищность такого намерения. Шакро очень просто возражал, что Алеша не понимает его выгод, забывает о проживании по чужому билету и о том, что за это—не хвалят...

Вдруг у Алеши блеснула одна догадка:

— Погоди,—закричал он,—да ты веришь в то, что я, действительно, хотел утопить тебя?

— Нэт!.. Когда ты мэня в воду толкал—вэрил, когда сам ты пошел—нэ вэрил!..

— Слава богу! Ну, и за это спасибо!

— Нэт, нэ гавари спасыбо! Я тэбэ скажу спасыбо! Там, у костра, тэбэ холодно было, мне холодно было... Чекмэнь твой—ты нэ взял его сэбэ. Ты его высушил, дал мне. А сэбэ ничэго нэ взял. Вот тэбэ спасыбо! Ты очэнь хароший человэк—я панымаю. Придем в Тыфлыс,—за все получишь. К отцу тэбя павэду. Скажу отцу—вот человэк! Корми его, пои его, а мэня—к ишакам в хлэв! Вот как скажу! Жить у нас будэшь, садовником будэшь, пить будэшь вино, есть чэго хочэшь!.. Ах, ах, ах!.. Очень харашо будэт тэбе жить! Очэнь просто!.. Пей, ешь из адной чашка со мной!..

Алеша смотрел ему в лицо, разинув рот от изумления. А Шакро, довольный собой, долго и подробно рисовал прелести жизни, которую собирался устроить Алеше.

Светало. Даль моря уже блестела розоватым золотом.

— Я спать хочу!—сказал Шакро. Он лег в яму, вырытую ветром в сухом песке недалеко от берега, закутался в чекмень и скоро заснул. Алеша сидел рядом с ним и смотрел на него.

КОНЕЦ ПУТИ

Впереди был Кавказ. Прошли Кубань, шли по Терской области. Шакро был растрепан и оборван на диво и был чертовски зол, хотя уже не голодал теперь, так как заработка было достаточно. Он оказался неспособным к какой-либо работе. Однажды попробовал стать к молотилке отгребать солому и через полдня сошел, натерев граблями кровавые мозоли на ладонях. Другой раз стали корчевать держи-дерево, и Шакро сорвал себе мотыгой кожу с шеи.

Шли довольно медленно—два дня работы, день пути. Ел Шакро крайне несдержанно, и, по милости его чревоугодия, Алеша никак не мог скопить столько денег, чтоб подправить хотя бы его костюм. А костюм у Шакро был сонмищем разнообразных дыр, кое-как связанных разноцветными заплатами.

Чем ближе подходили к Тифлису, тем Шакро становился сосредоточеннее и угрюмее. Что-то новое появилось на его исхудалом, неподвижном лице. Недалеко от Владикавказа путники зашли в черкесский аул и подрядились там собирать кукурузу.

Проработав два дня среди черкесов, которые, почти не говоря по-русски, беспрестанно смеялись над ними и ругали их на своем языке, Алеша решил уйти из аула, испуганный все возраставшим среди аульников враждебным отношением. Когда путники отошли верст десять от аула, Шакро вдруг вытащил из-за пазухи сверток лезгинской кисеи и, с торжеством показав Алеше, воскликнул:

— Больши нэ надо работать! Продадым—купым всего! Хватыт до Тыфлыса! Понымаишь?

Алеша был возмущен до бешенства. Вырвал кисею, бросил ее в сторону и оглянулся назад. Черкесы не шутят. Незадолго перед этим он слышал от казаков такую историю: один босяк, уходя из аула, где работал, захватил с собой железную ложку. Черкесы догнали его, обыскали, нашли при нем ложку и, распоров ему кинжалом живот, сунули глубоко в рану ложку, а потом спокойно уехали, оставив его в степи, где казаки подняли его полуживым. Он рассказал это им и умер по дороге в станицу. Казаки не однажды предостерегали от черкесов, рассказывая поучительные истории в этом духе.

Алеша стал напоминать Шакро об этом. Тот стоял перед ним, слушал и вдруг, молча, оскалив зубы и сощурив глаза, кошкой бросился на Алешу. Минут пять они основательно колотили друг друга, и, наконец, Шакро с гневом крикнул:—Будэт!..

Измученные, оба долго молчали, сидя друг против друга... Шакро жалко посмотрел туда, куда Алеша швырнул красную кисею, и заговорил:

— За что дрались? Фа, фа, фа!.. Очэнь глупо. Развэ я у тэбэ украл?

Алеша пытался объяснить ему, что есть кража...

— Пожалуйста, ма-алчи! У тэбэ галава, как дерево...—презрительно сказал он и объяснил:—Умирать будишь—воровать будишь? Ну! А разве это жизнь? Малчи!

Боясь снова раздражить его, Алеша молчал. Это был уже второй случай кражи. Еще раньше, когда

они были в Черноморьи, Шакро стащил у греков-рыбаков карманные часы. Тогда товарищи тоже едва не подрались.

— Ну,—идем далшэ?—сказал он, когда оба несколько успокоились, примирились и отдохнули.

Пошли дальше. Шакро с каждым днем становился все мрачней и смотрел на Алешу странно, исподлобья. Как-то раз, когда уже прошли Дарьяльское ущелье и спускались с Гудаута, он заговорил:

— Дэнь—два пройдет—в Тыфлыс придем. Цце, цце!—почмокал он языком и расцвел весь.—Приду домой,—гдэ был? Путэшествовал! В баню пайду... ага! Есть буду много... ах много! скажу матэри—очэнь хачу есть! Скажу отцу—просты мэнэ! Я видэл мынога горя, жизнь видэл—разный! Босяки очэнь харроший народ! Встрэчу когда, дам рубль, павэду в духан, скажу—пей вино, я сам был босяк! Скажу отцу про тэбэ... Вот человэк,—был минэ как старший брат... Учил мэнэ, бил мэнэ, собака!.. Кормил. Тэпэрь, скажу, корми его за это. Год корми! Год корми—вот сколько! Слышишь, Алэксэй!

Алеша любил слушать когда он говорил так, он приобретал в такие минуты что-то простое и детское. Такие речи были еще и потому интересны, что в Тифлисе он не имел ни одного человека знакомого, а близилась зима—на Гудауте их уже встретила вьюга. Алеша надеялся немного на Шакро.

Шли быстро. Вот и Мцхет—древняя столица Иберии. Завтра—Тифлис.

Еще издали, верст за пять, Алеша увидал столицу Кавказа, сжатую между двух гор. Конец пути! Алеша был рад чему-то, Шакро—равнодушен. Он

тупыми глазами смотрел вперед и сплевывал в сторону голодную слюну, то и дело с болезненной гримасой хватаясь за живот... Это он неосторожно поел сырой моркови, нарванной по дороге.

Вдруг он заговорил:

— Ты думаешь, я—грузински дыварянин—пайду в мой город днем такой, рваный, грязный? Нэ-эт!.. Мы падаждем вэчэра. Стой!

Сели у стены какого-то пустого здания и, свернув по последней папироске, дрожа от холода, покурили. С Военно-грузинской дороги дул резкий сильный ветер. Шакро сидел, напевая сквозь зубы грустную песню... Алеша думал о теплой комнате и других преимуществах оседлой жизни.

— Идем!—поднялся Шакро с решительным лицом.

Стемнело. Город зажигал огни. Это было красиво; огоньки постепенно, один за другим, выпрыгивали откуда-то во тьму, окутавшую долину, в которую спрятался город.

— Слушай!—сказал Шакро,—ты дай мэнэ этот башлык, чтоб я закрыл лицо... а то узнают мэнэ знакомые, может быть...

Алеша дал башлык. Товарищи шли по Ольгинской улице. Шакро насвистывал нечто решительное.

— Алэксэй! Видишь станцию конки—Верийский мост? Сыди тут, жди! Пожалуйста, жди! Я зайду в адын дом, спрошу товарища про своих, отца, мать...

— Ты недолго?

— Сэйчас! Адын момэнт!..

Он быстро сунулся в какой-то темный и узкий переулок и исчез в нем—навсегда.

Алеша никогда больше не встречал этого человека—своего спутника в течение почти четырех месяцев жизни, но он часто вспоминал о нем с добрым чувством и веселым смехом.

Алеше был двадцать один год. Много прочел он книг, много видел людей, но встреча с Шакро была, пожалуй, самой замечательной. Она научила Алешу многому, чего не найдешь в книгах.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Оставшись один в чужом городе, Алеша промышлял, как мог. Носил тяжести, работал на железной дороге. Пришлось бы ему и совсем плохо, если бы не счастливая встреча. Александр Мефодиевич Калюжный, революционер, бывший на каторге и сосланный на Кавказ, служил в железнодорожном правлении. Все чаще его глаза останавливались на молодом грузчике с упрямым скуластым лицом и черными живыми глазами. Одетый куда как плохо, совсем не по сезону, грузчик не унывал и то веселил товарищей, рассказывая разные случаи из своей жизни, то говорил о том, как рабочие должны бороться за разумную жизнь и не уступать хозяевам. Калюжный предложил ему поселиться у себя, и вот Алеша долгими вечерами рассказывает своему новому знакомому все свои приключения. Калюжный смотрит на него из-под мохнатых бровей насмешливо и ласково. А когда Алеша как-то рассказал о своей встрече с цыганом на берегу Дуная, Калюжный взял его за плечо и вывел в другую комнату. Втолкнув его туда, он запер за ним дверь.

— Там на столе есть бумага,—сказал он через дверь изумленному Алеше.—Запишите-ка то, что мне рассказывали. А до тех пор, пока не напишете, не выпущу!

Трудно было Алеше с непривычки. Но Калюжный и слушать ничего не хотел, пока рассказ не был готов.

На другой день Алеша был в редакции тифлисской газеты «Кавказ». Перед ним за столом сидел редактор, худощавый старик в золотых очках. Он внимательно читал только что принесенный рассказ «Макар Чудра».

— Так...—сказал редактор, кончив чтение, и с удивлением оглядел мешковатую фигуру автора.—Так,—повторил он, задумавшись.—Однако тут нет подписи. Нужно подписаться. Как подписать? Кто вы?

Кто он? Алеша подумал, хотел что-то сказать, потом поколебался и, наконец, махнув рукой, сказал с решительным видом:

— Хорошо, подпишите так: Горький... Максим Горький...

Редактор подписал. Потом в левом верхнем углу рукописи пометил для типографии: «В набор».

Дешевая библиотека Госиздата преследует цели продвижения в широкие массы наиболее значительных произведений советской, классической и иностранной литературы, а также важнейших социально-экономических трудов, которые до сего времени выходили в более дорогих изданиях.

ЦЕНА каждого номера (64 страницы) — 10 к.

Книги, не помещающиеся в один выпуск, выходят двойными, тройными и т. д. выпусками, с соответствующим количеством номеров.

Для удобства читателя каждый отдел (лит. художеств., социально-экономич. и др.) имеет особый цвет обложки.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

№ 1—3. **Серафимович А.** Железный поток. Ц. 30 к.
№ 4—6. **Фадеев А.** Разгром. Ц. 30 к.
№ 7—11. **Фурманов Д.** Чапаев. Ц. 50 к.
№ 12—20. **Сталин И.** Вопросы ленинизма. Ц. 90 к.
№ 21—22. **К. Маркс и Ф. Энгельс.** Коммунистическ. маниф. С введением и пояснениями Д. Рязанова. Ц. 20 к.
№ 23—27. **Степняк-Кравчинский.** Андр. Кожухов. 50 к.
№ 28—36. **Гончаров И.** Обломов. Ц. 90 к.
№ 37—41. **Покровский М.** Русская история в самом сжатом очерке. Ц. 50 к.
№ 42—48. **Джек Лондон.** Мартин Идэн. Ц. 70 к.
№ 49—50. **Ленин В. И.** Империализм, как высшая стадия капитализма. Ц. 20 к.
№ 51—54. **Григорьев С.** Берко кантонист. Ц. 40 к.
№ 55—56. **Караваева А.** Двор. Ц. 20 к.
№ 57—61. **Панферов Ф.** Бруски, т. I. Ц. 50 к.
№ 62—65. **Горький М.** Детство. Ц. 40 к.
№ 66—67. **Горький М.** Мои университеты. Ц. 20 к.
№ 68—73. **Шолохов М.** Тихий Дон. т. I. Ц. 60 к.
№ 74—75. **Сейфуллина Л.** Правонарушители. Перегной. Ц. 20 к.
№ 76—81. **Гюго В.** 93-й год. Ц. 60. к.
№ 82—86. **Пантелеев Л. и Белых Г.** Республика Шкид. Ц. 50 к.
№ 87—93. **Шолохов М.** Тихий Дон т. II. Ц. 70 к.
№ 94—96. **Груздев И.** Жизнь и приключения М. Горького. Ц. 30 к

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Гашек. Похождения бравого солдата Швейка
Сейфуллина Л. Виринея.
Рязанов Д. Маркс и Энгельс.
Фурманов Д. Мятеж.
Иванов В. Бронепоезд. Партизаны.
Слонимский. Черниговцы.
Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир.
Бедный Дем. Тебе господи! Сборник антирелигиозных произведений.
Чумандрин М. Фабрика Рабле.